

БАБУШКА МОТРЯ

На печке мы сидим вчетвером: бабушка Мотря, я, сестренка Парашка и кот Савоська, большой лентяй и проказник. Он может целыми днями спать в теплой печурке над загнетью, а сорвавшись оттуда, обязательно натворит чего-нибудь. То клубок пряжи закатит под лавку, то кринку с молоком опрокинет. Сейчас прижался кот косматым боком к моей спине, беспечно мурлычит, и ничего ему больше не надо.

В избе уже совсем темно, но мать еще во дворе, она там управляется со своими делами. А ветер на улице такой, что слышно, как он бросается хлопьями снега в окна, со свистом ударяет в застрехи соломенной крыши, будто хочет сорвать ее и развеять ключьями по деревне.

Парашка всхлипывает:

— Ой, бабуска, боюсь...

— Не надо бояться, дитяtko, — говорит ласково бабушка, прижимая к своей впалой груди хныкающую Парашку. Я тоже приникаю к бабушке так близко, что ощущаю дрожь ее старческих рук. Они у нее всегда дрожат. И мне кажется, что она сама напугана разыгравшейся метелью не меньше нас, малышей.

Успокоив нас, бабушка облегченно вздыхает:

— Ох, голубята мои, голубята. Вот февраль кончится — и солнышко по-весеннему пригревать начнет. Сгонит снег с полей, и шелковая травка повсюду зазеленеет. Холода-то зимние сразу и забудутся...

Скоро весна! Мне живо представляется наш маленький вишневый садик. Он будто уже весь вбелом цвету. И много-много маку на огороде. Будет чем полакомиться нам с Парашкой — мы очень любим мак!

...А на дворе творится что-то невероятное. Ворвавшись в сени, ветер словно ходит там и, нащупав своим холодным дыханием дверь, пытается открыть ее.

Парашка опять хнычет:

— Боюсь...

— Не бойся, касатка моя. Это мамка в сенях снег веником с лаптей сметает.

Затаив дыхание, мы настораживаемся. Стук в сенях постепенно утихает.

Проходит минута, другая, но в избу никто не входит.

Теперь, детки, уже скоро. Потерпите чуточку, — успокаивает нас бабушка.

Хотите, я вам сказочку скажу?

— Расскажи, бабушка, — просим мы.

В избу входит со двора мать. Слышно, как она гремит ухватами у печки. Сейчас позовет всех нас к ужину, но сладкая дремота давно одолевает Парашку, перестал мурлыкать и Савоська. Он не собирается уходить «от зимы лета искать», как это сделали баран, свинья, гусь и петух из бабушкиной сказки. Ему и на печке хорошо. Начинаю дремать и я. Мне мерещатся избушка на курьих ножках и баба-яга. Откуда-то появляется Емеля-дурачок и говорит мне:

— Хочешь зимовье зверей посмотреть?

— Хочу, — отвечаю ему.

— Ну-ка, по щучьему велению, а по моему прошению ступай-ка, печь, в лес! — И печка наша трогается.

Емеля хохочет:

— Не бойся, держись крепче за меня... Поехали!
Глубок и безмятежен детский сон. Не беда, что остались

мы с Парашкой без ужина. Зато вдвойне будет сладок черствый ржаной хлеб утром.

Первой встречает наше пробуждение бабушка. Стоит только мне или Парашке заворочаться на постели — и бабушка уже рядом. Захлопотала, засуетилась. На ее лице лучится добрая, светлая улыбка.

— Проснулись, голубятки мои? Вот и хорошо. Сейчас одеваться будем.

Уже лежат на краю печки мои чуни, грубые холстинные портянки, поношенное Парашкино платьице. Все это мы должны надевать сами. Бабушка только подсказывает, если я или Парашка делаем что-нибудь не так. Нуждается в этом больше Парашка. Известное дело — несмышлениш она еще. То платье наденет задом наперед, то веревку в чунишках сама затянуть не может. Бабушке приходится помогать ей. Для меня это все пустяки. Я умею навертывать на ногу портянку так хорошо, что бабушка часто хвалит меня:

—Молодец, внучек. Как взрослый обуваешься.
Покончив с одеванием, бабушка ведет нас к большой лохани умываться.

Потом она молча подает нам хлеб со стола и внимательно следит, чтобы никто из нас во время еды не обронил ни единой крошки:

—Нельзя божий дар под ноги сорить: бог ушки отрежет.

—А он злой, да? — спрашиваю я.

—Кто злой? — настораживается бабушка.

Я показываю рукой на икону.

— Что ты говоришь? — испуганно шепчет бабушка. — Нельзя, детка, гневить боженьку.

Я начинаю посматривать на икону с опаской: а вдруг тот, кто нарисован на ней, сойдет с доски, возьмет со стола нож и в самом деле отрежет мне ухо?

Бабушка крестится. Она готова молиться за всех: за себя, за мать и отца, за меня с Парашкой. Она думает, что бог поможет нам.

Жили мы тогда впроголодь, перебиваясь с хлеба на квас. Уже совсем дряхлая, полуслепая бабушка вязала богатеям варежки, перчатки, носки. А платили за это скудные гроши.

Мать возмущалась:

— Бесстыжие! Старого человека задаром работать на себя заставляют.

— Бог с ними, Александрушка, — отвечала бабушка. — Меня от этого не убудет, а лишняя копейка в доме всегда годится.

Лишняя копейка в доме! Ради нее мы не видели месяцами отца в семье. Он каждую зиму уходил куда-то на заработки и возвращался лишь весной. Выбиваясь из сил, долгие зимние ночи напролет сидела мать за прялкой, чтобы соткать лишний холст нам на рубашки.

Доведенная до отчаяния, мать часто сетовала на свою горькую долю.

Разве это порядок, — жаловалась она бабушке. —
Один живет в роскоши и веселье, объедается каждый день, а те, кто работает на него, даже хлеба вдоволь не видят.

От бога это, милая, все, — отвечала бабушка. — За грехи наши тяжкие,

Александрюшка, наказывает он нас.

У кого капитал, за того и бог. Я, например, кроме напастей всяких, от него ничего не видела.— Мать смахивала уголком платка набежавшую слезу и до конца дня оставалась мрачной и злой. А когда в доме все укладывались епать, бабушка становилась на колени перед иконой и долго-долго шептала молитвы.

Когда мне исполнилось шесть лет, бабушка взяла меня с собою в церковь. Я с удивлением рассматривал темные изображения «святых». Они были и на стенах и на потолке. «Святые» строго, в упор смотрели на меня и грозили пальцем. От едкого перегара восковых свечей и ладана у меня начало рябить в глазах. «Святые» на стенах пришли в движение, будто собираясь сойти со своих мест и окружить нас. Мне стало страшно. Я вцепился в бабушкину руку. В это время на клиросе раздалось пение хора, и я немного успокоился. Но вот хор смолк, и я услышал гнусавое бормотание дьячка Вавилы, у которого слова «господи, помилуй» сливались в сплошное «лови-лови». Страх снова охватил меня. Опять зашевелились на стенах призраки с копьями и мечами. Значит, они поймают меня, раз дьячок снова завел это «лови-лови-лови». Бежать, скорее бежать! Я дернулся вперед, но бабушка остановила меня громким шиканьем:

— Куда ты? Нельзя!

Потом все устремились вперед. Люди шумно и беспорядочно толкались, как на базаре. Бабушка потянула и меня туда. Я увидел попа Кондратия. Он стоял на возвышении с большим медным крестом в руке и водил им из стороны в сторону. Рядом с нами оказался щупленький старичок, он сердито посмотрел на меня.

Это твой, Григорьевна? — спросил он вполголоса бабушку.

—Внучек, — ответила она.

Сорванец этакий. Не води его больше с собой, Григорьевна.

—Пошто вы. Никанор Архипыч? — недоумевала бабушка.
Старичок все еще косил на меня своим сверлящим взглядом.

— Как же, голубушка, — жаловался он бабушке. —Только я сделал земной поклон, а он мне ногой на волосы.
Прихватил к полу и—ни с места, пока я пинка ему не дал. Это в божьем-то храме...

Бабушка сердито дернула меня за руку, недовольная тем, что я навлек на себя гнев одного из деревенских богатеев.

—Говорила тебе, дитенок, становись на колени. Проси у дедушки прощения.

Я готов расплакаться, но мы уже подходим к попу — теперь наша очередь приложиться к кресту. Бабушка заблаговременно приподнимает меня перед собой, чтобы я мог поцеловать крест. К нему только что приложилась женщина с опухшим красным лицом и болячками на губах. Крест холодный и немного мокрый. Мне становится противно.

Вскоре мы с бабушкой оказываемся на улице. Тут светло, весело и дышится легко-легко. На выгоне резвятся ребятишки. Мне хочется тоже поиграть с ними, но бабушка удерживает меня:

—Нельзя, дитенок, после церкви предаваться играм.

Прошло несколько дней. Однажды утром я заметил, что на губе у меня появилась небольшая язвочка. Никто из домашних не обратил на это внимания. Мол, остыл немного мальчонка, вот и обметало. Только мне, почему-то вспомнились сразу церковь и больная тетка, целовавшая крест.

—Ты чего это хныкать вздумал? — спросила мать.

— Рот болит.

—Дай-ка я посмотрю.

Мать долго приглядывалась к моей припухшей и покрасневшей губе, затем позвала бабушку.

—Уж не рожа ли это приключилась у Мити?

—Упаси, господи, и помилуй... Ну-ка, дитенок.

Бабушка Мотря тоже топчется вокруг меня, разглядывая своими потускневшими глазами мое лицо.

— Потерпи, сердешный, до вечера, — успокаивает она меня. — Покличем дедушку Федота, он в момент все как рукой снимет. Ему только мелком чуточку поводить.

Но с приездом отца в этот день все обернулось иначе.

— Никаких Федотов! В больницу к доктору Маслову надо ехать.

Дорого обошлась отцу моя болезнь. Ему пришлось не один раз занимать у соседа лошадь, платить за лечение доктору, но все же он радовался:

—Хорошо, сынок, что быстро мы с тобой спохватились. С бабушкой у него был особый разговор, и я его слышал.

Отец строго-настрого запретил ей водить меня в церковь.

„ЛАРЕЦ МУДРОСТИ“

Мой отец учитель. Он очень любит читать книги. У него их целый сундучок. Отец называет его в шутку «ларцом мудрости-». Только ему одному доступны сокровища этого сундучка. Мать с бабушкой — люди неграмотные, я еще мал, а Парашка целыми днями на печке с куклой возится. Так и стоит целую зиму «ларец мудрости» под лавкой, пока не вернется отец.

Бывает он дома очень редко. Зимой, например, мы его совсем не видим. Как уйдет с осени в какую-нибудь дальнюю деревню ребят грамоте обучать, так и живет там до весны. Он — «кочующий учитель». Где сумеет договориться с мужиками, там и учит ребят.

Школа есть только в нашем селе, одна на всю округу. Что ни дом, то нищета. Тут уж не до школ. Дети учатся в крестьянских избах. Один день у дяди Ивана, а на другой к дяде Петру переходят. Ну и отец мой — их учитель — туда же вместе с ребятами.

Отца это ничуть не смущает. Не беда, что приходится ему на правах сельского пастуха по дворам жить и кормиться. Главное для него — пользу людям приносить. Он на все согласен, только бы лишнего мальчонку или девочку грамоте обучить.

Отец учил крестьянских детей, но сам он был такой же русский мужик, задавленный нуждой, как и другие. Разница была лишь в том, что, научившись в детстве с грехом пополам читать и писать у местного дьячка, он затем многое постиг самоучкой. Он учил других и одновременно учился сам.

Учился он с невиданным упорством. Вот тут ему и помогал «ларец мудрости».

Возвратившись из какой-нибудь дальней деревни, отец сразу же спрашивал о своем сундучке.

—Ну, сынок, как тут наш «ларец мудрости»?

Отец выдвигал сундучок из-под лавки, бережно выкладывал на стол его содержимое, а затем любовно расставлял книги на полочке у шестка. Один вид их уже скрашивал в какой-то мере убожество нашего жилья. В избе сразу становилось намного уютней. Самое же интересное начиналось по вечерам.

После трудового дня - - будь то сенокос или страдная пора — несмотря на усталость, отец брал с полочки одну из книг, раскрывал ее и торжественно говорил:

— Итак, сынок, по расписанию у меня сегодня урок грамматики. Начнем его с повторения пройденного.

Он начинал ходить по избе от стола к двери и обратно, заглядывая в раскрытую книгу и повторяя правила.

Самым интересным для меня были склонения, когда отец, как бы разговаривая с кем-то, задавал вопросы и сам отвечал на них.

—Кто? Что? — Зем-ля...

Подражая отцу, я однажды повторил вслед за ним почти весь урок. Он услышал это и тут же подхватил меня на руки, стал подбрасывать к потолку, целовать в щеки, до боли щекоча их своими жесткими усами. Карие глаза его при этом светились радостью.

—Ах ты, шельмец этакий, запомнил!

Успокоившись немного, отец поставил меня перед собой и, оглядывая с удивлением, проговорил:

— А ведь ты, сынок, и впрямь уже подрос. Ну-ка давай просклоняем с тобой еще раз слово «земля». Ты меня спрашивай, а я буду отвечать.

Ничего не поняв, я стоял перед отцом, потупив глаза в землю.

Что же ты молчишь, сынок? — рассмеялся отец. —Это дело не трудное — спрашивать других.

Я... я не умедо...

— А мы сейчас вдвоем быстро этому научимся. На каком падеже остановились-то? Ага. На родительном. Следующий будет дательный. Вот и спрашивай меня, сынок: Кому? Чему?

Я повторил подсказанные отцом вопросы, а он ответил на них:

—Зем-ле-е.

А потом я наловчился спрашивать отца по всем падежам так, что он иногда не успевал отвечать.

Дядя Паша, сельский кузнец, большой балагур и весельчак, застав однажды нас за учебной, немало удивился моей сообразительности и прозвал меня «О ком-о чем». Когда он приходил к нам, обязательно спрашивал:

— Как тут поживает наш «О ком-о чем»?

Я в таких случаях убегал поскорее на печку и там укрывался тряпьем. Но дядя Паша, взобравшись на приступок, стаскивал меня оттуда.

— Ага... Попался «О ком-о чем». Иди-ка сюда!

Нам с Парашкой было очень весело. Натешившись с нами вволю, кузнец опускал руку в карман своего старенького пиджака, порывшись там, доставал из него медную монетку и отдавал ее нам с Парашкой.

— Это вам на гостинцы, пострелята. Только в другой раз чур не прятаться от меня.

Когда кузнец уходил домой, мать назидательно говорила:

— У человека нет своих ребятишек, пусть хоть с чужими потешится.

По вечерам мы иногда выходили с отцом погулять в вишневый садик. Он садился на скамеечку и брал меня на колени.

Мне приятно было ощущать его теплую руку на своем плече, видеть счастливую улыбку отца: она светилась в чуть прищуренных глазах, дрожала в уголках губ.

Помолчав немного, отец окидывает меня испытывающим взглядом.

А ведь подрос ты, сынок, за зиму без меня. Читать научиться хочешь?

Хочу, — отвечаю я, а сердце под рубашкой, словно молоточек маленький: тук-тук, тук-тук.

После ужина отец сажает меня за стол рядом с собой и разворачивает новенькую книжку. Первая страничка ее вся в замысловатых фигурках, и под каждой из них небольшой рисунок. Отец объясняет мне:

— Это буквы. Из них складываются слова. А когда научишься делать это, ты можешь прочитать всю книжку.

Затем отец показывает мне на один из рисунков.

— Что тут нарисовано, сынок?

—Маленькая девочка кричит, — отвечаю ему.

—Как дети кричат?

—Аа-а, — произношу я нараспев, как делал это иногда, передразнивая Парашку.

—Правильно, — радуется отец. — Вот мы и первую букву алфавита назвали — «А».

—На сажень она похожа, — горячусь я.

— А ведь и правда, — смеется отец. — Сажень! Хорошее сравнение!

На следующем рисунке изображена собачка и убегающий от нее мальчик.

Это Данилка Огнев, — смеюсь я. — Собачка на него—ам! Он и побежал.

Правильно сказано. Тут, сынок, мы уже имеем дело с двумя буквами. К нашему «А» прибавилось «М». Чем она отличается от первой?

Я с минуту рассматриваю черную фигурку и никак не могу придумать, с чем бы ее можно сравнить. Помогает отец.

— Представь себе, Митя: сделали мы с тобой мостик через ручей из двух колышков с перекладиной на них, а перекладина-то возьми и переломись. Получилось «М». Запоминается?

Я повторяю название новой буквы.

— Хорошо, — говорит отец. — На этом закончим наш первый урок. А завтра повторим его и двинемся дальше.

Букварь закрыт, а перед глазами у меня все еще мелькают «А» и «М» — сажень и сломанный мостик. Они мерещатся мне во сне, я повторяю их вслух.

Вечером отец начинает объяснять, как из этих букв можно сложить первые слова.

Он открывает конвертик с разрезной азбукой, извлекает из него буквы «М» и «А» и кладет их рядом.

Что у нас получится, если мы произнесем обе буквы сразу?

—Ма, — отвечаю я.

—Молодец, — хвалит меня отец и тут же подкладывает к первой паре букв вторую. Я читаю:

—Ма-ма.

—Повтори это слитно.

—Мама, — произношу я. И передо мной вдруг открывается новый мир. Из букв — и такое хорошее слово — мама! Я повторяю его с таким восторгом, что его слышат и бабушка Мотря, и мать, и Парашка. Они удивлены: вчера только сел за букварь, а сегодня прочел уже первое слово.

— Смотри, Александрушка, какой понятливый, — удивляется бабушка.

—Весь в папашу задался, — ликует мать.

Только Парашка посматривает на меня своими черными глазенками и молчит. Знаю я ее. Завтра же начнет повторять каждое слово за мной.

А через два месяца я уже знал весь алфавит, с помощью отца прочитал почти весь букварь, и у меня появились свои первые книжки с картинками и стихами. Ездил отец в город и привез. Для хранения их он сколотил мне маленький ящичек.

Пусть это будет твой «ларчик мудрости», — сказал он в шутку. Я принял это всерьез и уже не расставался со своим ларчиком, все время пополняя его новыми книжками. Они стали моими спутниками на всю жизнь.

СЕДЬМАЯ ВЕСНА

Майское утро. Яркое солнышко заглядывает через окно в мою постель на приступке у печки, и я сразу просыпаюсь. Скорее в наш вишневый садик! Хорошо там в эти весенние дни. Все деревья в сплошном белом цветении, а запах от них такой приятный-приятный. И звонкий лче-линый гул. Тысячи золотистых пчелок кружатся над вишнями.

Где же моя рубашка? Клал под изголовье, и нет ее. И штанишек моих не видно.

— Бабушка, — зову я. — Бабушка!

—Проснулся, внучек? — радуется старая, приближаясь ко мне. — С добрым утром, Митенька. С днем рождения!

—Рубашка моя затерялась где-то... И штанов нет.

—Вот они, — отзывается мать. — Постирала вечером. Как же! Именинник ты нынче у нас. Семь лет тебе исполнилось, восьмой пошел.

Парашка тоже поздравляет меня:

—С днем лож-ждения, Митя.

Я догадываюсь: это бабушка Мотря научила ее. "Что ж, именинник, так именинник. Только бы одеться поскорее и — в садик. Там я еще вчера улей для пчел из пенька смастерил. Может быть, они успели уже за утро меду в него наносить?"

Рубашка и штанишки надеты, остается только пуговицы застегнуть. Это можно сделать на ходу. И вдруг—плач в зыбке: Петюнька маленький проснулся.

—Покачай его, Митя, — просит мать. — Вот только с печкой я управлюсь...

Я смотрю на бабушку: может быть, она подойдет к зыбке? Но она и не думает оставлять своего рукоделия. Вязальные спицы в ее руках так и мелькают.

—Седьмую весну в жизни встречаешь, дитенок. Помогать старшим пора...

А Петюнька тем временем заводит такое голосистое «уа-а», хоть уши от него затыкай. Тут уж не до улья с медом. Надо поскорее соску братишке сунуть, чтоб замолчал. А что, если Петюнька долго не заснет? Не видать мне тогда меда в своем улье, унесут его пчелы обратно.

Но деваться некуда. У матери хлопот сегодня уйма. Еще вчера она сокрушалась весь день: задумала хороший пирог ко дню моего рождения испечь, а муки пшеничной не было. Пришлось ржаную употребить. Тесто получилось какое-то синеватое.

— Нет, не получится у меня пирога,—отчаивается мать.— Куда нам за богачами гнаться. Лучше бы не затевать.

Однако пирог, на мое счастье, задается на славу. Румяный, поджаристый. За обедом, по заведенному кем-то обычаю на такой случай, его разрезали над головой у меня. Глядя на эту церемонию, Парашка громко смеялась.

Мать чуточку потянула меня за уши кверху, приговаривая:

Расти, сынок, большой-большой, отцу с матерью на радость.

Болсой-болсой, — подхватывает Парашка.

Трудолюбивым, дитенок, будь, — наставляет бабушка. — У матери с отцом вся надежда на тебя. Первенький ты у них

Весь дальнейший разговор за столом сводится к тому, что время детских забав для меня прошло. Пора к делу прибиваться.

Приходится задумываться. Многое уже выполняю я, помогая по дому: солону из скирды для печки подношу, за Парашкой приглядываю. Вот только ведра большого от колодца не могу еще полным донести. Оно тяжелое, а колодец у нас под горкой. А может быть, теперь и ведро это осилю? Мне семь лет! Надо попробовать.

И еще... школа! Мой дружок Данилка Огнев учится там с прошлой осени. Он на годок постарше меня. Надо спросить у матери, буду ли теперь и я туда ходить. Однако, как только я заговариваю об этом, бабушка качает головой.

— И-и, голубчик, — тянет старая. — Зачем она тебе, школа? Мы не баричи какие-нибудь. Научился от отца книжки читать — и хорошо. До всего остального сам потом дойдешь.

Мать не соглашается с бабушкой.

— Учиться всем надо, — говорит она. — Будешь и ты, сынок, ходить осенью в школу. А сейчас иди, именинничек, погуляй" на улице. Праздник у тебя нынче.

Выбравшись из-за стола, выбегаю на выгон. Он у нас, в Грачевке, широкий-широкий.

Все вокруг пламенеет в ярких лучах майского солнца. Над высокими тополями с криком кружатся грачи.

Двери школы, приютившейся под боком у церкви, распахнуты настежь. Стало быть, Данилка еще там, на уроках. Вот обрадуется он, когда узнает, что скоро и я вместе с ним ста-ну ходить в школу. Это будет осенью. А сейчас... Может быть, набраться мне смелости и пойти туда, к учителю, попросить книжку хорошую почитать?

Данилка говорил мне, что в школе у них много книжек,

Я срываюсь с места и, подпрыгивая, как резвый ягненок, мчусь по выгону к школе. Вот и ее каменный порог передо мной. Но лишь только я поднимаюсь

на первую ступеньку, босые ноги обжигает холод. Озноб пробегает по всему телу,

В это время с шумом распахивается школьная дверь и на улицу высыпает пестрая ватага незнакомых ребяташек. Они сразу обступают меня со всех сторон и начинают расспрашивать:

— Ты зачем сюда?

— Учиться пришел, да?

— Куда ему, такому маленькому!

Стою, потупив глаза в землю, и не могу вымолвить ни единого слова.

Из беды выручает Данилка. Протискиваясь ко мне, вы говорит ребятам:

— Он уже читать хорошо умеет.

— Да ну?! — удивляются все.

— Вот вам и ну, — отвечает с гордостью Данилка и спрашивает меня: — Ты по какому делу попал сюда?

— К учителю, за книжкой...

Услышав это, ребята сейчас же подхватывают меня под руки и увлекают в помещение школы. Шум поднимается невообразимый. Кто-то подталкивает меня вперед, звонко выкрикивает:

— Михаил Павлыч! Парнишечка к вам за книжкой пришел.

Худощавый человек с курчавой золотистой бородкой поднимается из-за небольшого столика, берет меня двумя пальцами за подбородок и заглядывает в лицо.

— Как тебя зовут?

— Митя.

— Что же ты, учиться к нам пришел?

— Мне бы книжечку прочитать...

Михаил Павлович удивлен.

— Ты что же, Митя, читать умеешь?

Он осторожно берет меня за плечи, поднимает перед собой и ставит на первую парту. Таким образом я оказываюсь на виду у всех. Учитель просит одного из мальчиков достать ему букварь. Развернув книгу, он передает ее мне.

— Почитай-ка нам, Митя, вот эту страничку, а мы послушаем.

Я начинаю читать. В классе сразу наступает полная тишина.

— Все слышали, дети? — спрашивает учитель, когда я кончил читать.

Слышали, Михаил Павлыч, — отвечают хором школьники.

Вот как надо научиться читать всем, — говорит назидательно учитель. — А теперь что ж, дадим мальчику книжку. Только уговор: в школу к нам босиком больше не ходить. Пол у нас холодный, так и простудиться недолго.

Учитель дает мне новенький детский журнал «Солнышко» и говорит, что он дарит мне его за хорошее чтение.

Оказавшись на улице, бегу как угорелый по выгону, к своему дому. Какое счастье: у меня новая книжка! Я показываю ее матери, бабушке. Ко мне тянется Парашка.

— Митя, дай я посмотрю.

— А руки у тебя не грязные?

Парашка растопыривает пальчики и сама осматривает их.

— Чистые.

Но я все равно не могу доверить Парашке книжку. Держу ее в руках сам и показываю картинки.

— Вот смотри, тут зайка нарисован. А вот мальчишки в бабки играют.

Я не только прочитал весь журнал, но почти выучил его наизусть. И всякий раз, когда я заглядывал в свой ящичек с книгами и в мои руки попадало «Солнышко», мне живо вспоминался радостный майский день седьмой весны в моей жизни

ДАНИЛКА

Прошел сильный дождь: с громом, с молнией. А потом как-то сразу выглянуло из-за косматых туч веселое солнышко, заиграло переливами золота по лужам, по темно-зеленой листве деревьев, по крышам изб. Сделалось тепло-тепло.

Выбежал я из дома, приложил ко лбу ладонь козырьком, чтоб солнце глаза не так слепило, залюбовался радугой. Совсем она близко, будто за селом концами своими на земле . стоит. Вот добежать бы до нее и руками потрогать: холодная она или горячая.

Поглядывая на цветистые полукружья в небе, бегу к Данилке. А тот — мне навстречу.

—Ты куда?

— К тебе... Радугу видишь?

Где? — спрашивает Данилка, окидывая взглядом небосвод.

—Была радуга, — уверяю Данилку.

—А куда девалась?

— Стало быть, погасла.

—Ну и ладно. В другой раз посмотрим. Бежим к пруду.

И заскакали мы по выгону вприпрыжку, обгоняя друг друга. Только брызги из-под ног летят во все стороны. Вода в лужах теплая, как парное молоко.

—Купаться будешь? — спрашивает меня Данилка.

—Плавать я не умею...

—Ладно, — соглашается Данилка. — Искупаемся у самого бережка.

Около пруда уже полным-полно ребят.

Но тут появляется сельский сторож дедушка Василий. Он в лаптях, в забрызганном грязью зипунишке. В руках у него палка. Он грозит ею еще издалека.

— Я вам искупаюсь. Ишь, пострелята, надумали что. Тут взрослые утопали, а вы — поготово.

— Дедушка, мы только чуточку, у самого краешка, — просит Данилка. — Я плавать умею.

— Уходите, пока греха с вами не стряслось.

— Дедушка, милый...

Никак не сдаётся дед, опять палкой грозит.

— Уходите, демонята, да поживее.

Ладно, дедушка, — отвечает Данилка. — В Гуртовых ямах искупаемся.

Гуртовые ямы — это, конечно, не пруд. Вода там в котлованах бывает только после проливных дождей. Однако, увидев, что все мы веселой гурьбой устремляемся туда, дедушка Василий семенит вслед за нами.

Подбегаем к ямам, они почти до краев заполнены дождевой водой. Она немного грязновата, но зато теплая-теплая.

— Стойте! — командует Данилка и первым сбрасывает с себя штаны и рубашку. — Дайте я сначала глубину измеряю.

Разбегается с берега и — бултых в воду. Хотел поплыть, но в яме воды по колено.

Загалдели все сразу, как воробьи на коноплянике.

— Данилка, нырни попробуй!

Данилка ныряет. Что ему, жалко, что ли. Только у него ничего не получается. Сунется головой в воду, а сам весь на виду.

Подзадориваемые Данилкой, мальчишки тоже лезут в яму. Раздеваюсь и я. Пробую одной ногой воду — теплая, а войти в нее страшно. Забегаю с другой стороны ямы.

Данилка смеется:

— Тут же совсем мелко.

— Боюсь.

Все ребята уже купаются в котловане. Шум стоит невообразимый. А я бегаю вокруг ямы и никак не выберу удобного места, где бы лучше мне с берега сойти.

Ага! Вот чистенькая травка и бережок не крутой. Правая нога моя в воде. Дно скользкое-скользкое.

— Иди к нам сюда, Митя, — подбадривает меня Данилка. — Смелее, ну!

Воды по колено. Чего ж тут бояться! Вот уже почти и середина ямы, а глубина все та же. Еще один рывок вперед — и вдруг провал. Ни Данилки, ни ребят. Только я и успеваю крикнуть:

—Аи!

Сплошной звон в ушах и непроглядный мрак. Что-то вязкое, солоноватое захлестывает мое дыхание. Но кто успел подцепить мне груз на ноги? Он неумолимо тянет меня ко дну. Гаснет мое сознание, иссякают мои последние силы.

И вдруг резкий толчок в спину, за ним второй, третий. Слышится отчаянный крик Данилки.

—Ми-тя-я!

Но вместо слов из груди у меня вырывается икота. Вода льется изо рта, из носа... У меня начинается сильная рвота.

Вот уже и дедушка Василий подоспел к нам. Морщинистое лицо его, искаженное страхом, мелькнуло на мгновение у меня перед глазами и сейчас же растворилось в желтых и зеленых кругах... Но дедушка не ушел, он где-то тут, рядом. Я слышу его тяжелые вздохи.

— Ах, напасть-то какая! Совсем чуть было не захлебнулся мальчонка.

Я с трудом открываю глаза, пытаюсь встать на ноги, но тут же снова валяюсь на землю.

—Полежи чуточку, Митя, — говорит с дрожью в голосе Данилка. В голубых глазах его светятся слезы. Лицо бледное-бледное. Рядом с Данилкой дедушка Василий. Палка в его руках так и ходит ходуном по земле. Пересмягшие губы старика подергиваются.

Вот так-то. От пруда прогнал, они — в ямы. Неслушники своевольные!

Через некоторое время с помощью Данилки и дедушки Василия я поднимаюсь на ноги. Они еще дрожат у меня, подкашиваются, но я жив. Жив

благодаря смелости и находчивости Данилки. Он не убежал, как другие, он спас меня. На такое мог решиться только самый верный друг.

Дедушка Василий, глядя на нас, от умиления смахивает с бороды скатившуюся слезу.

—Побратимы вы теперь на всю жизнь.

Дома о случившемся со мной ничего не знают. И мы с Данилкой накрепко уговорились не рассказывать никому об этом. Но к вечеру слух о смелом поступке Данилки разносится уже по всему селу. Дедушка Василий рассказывает о происшедшем со мной в Гуртовых ямах каждому встречному.

—Непременно погиб бы мальчонка, если бы не Данилка.
К дому Огневых сбегаются все соседи. Каждый хвалит Данилку.

— Вы теперь роднее родных, — говорит мне мать. —
Не у каждого найдется такой товарищ, чтобы жизнью своей за тебя рисковал.

Данилка и впрямь становится моим покровителем во всем. Попробуй кто из ребят обидеть меня, Данилка за меня горой. Он любому задире сдачи даст, да еще и прибавит.

Отец сделал нам с Данилкой по маленькой удочке, и мы ходим вдвоем ловить гольцов в ручье. Интересное это занятие. Высмотришь в прозрачной воде гольца где-нибудь около камешка, и червячка с крючком ему к усатому роту — раз! Ух, как рыбешка набрасывается на него.

Правда, после случая со мной в Гуртовых ямах я немного побаиваюсь воды. Как бы снова не попасть в беду. Но Данилка подбадривает меня:

— Ничего, мы еще с тобой на речку ходить скоро по рыбу станем.

А как хорошо вдвоем с Данилкой помечтать о школе! Ведь каких-нибудь два месяца до осени остается.

На одной парте, рядом сидеть будем, — говорит Данилка. — Читаешь ты хорошо, и учитель во второй класс тебя сразу примет.

— Примет ли?

—Он человек понимающий.

Я с нетерпением жду дня, когда, наконец, пойду в школу.

ВРАЖДА

У ребят нашей улицы появились заклятые враги. Это Гараська Тюпин, лавочников сын, его сподвижники по озорству Вадька Зуб и дьяконов Гришка.

А началось все с хулиганской выходки Гараськи Тюпина.

Был жаркий летний день. Укрываясь от сильного зноя, мы с Данилкой забрались под куст бузины, разросшийся за двором Огневых. Тут у Данилки был сделан столик из каменной плиты. Мы частенько читали здесь книжки, которые он приносил из школы. Отсюда был хорошо виден выгон.

На этот раз наше внимание привлек четырехлетний Федя, сынишка дяди Семена, который живет через двор от Огневых, по соседству с лавочником Тюпиным. Мальчик бегал по выгону против дома Тюпиных, рвал одуванчики и ловил пестрых бабочек.

Белая ситцевая рубашка в желтых горошках еле прикрывала его живот, а грубые штанишки из домотканной холстины с помочами крест-накрест то и дело спускались до самой земли. Поддерживая их все время одной ручонкой, мальчик упускал самых красивых бабочек. Это раздражало Федю. Он сердился и с еще большим упорством продолжал преследовать улетающих от него насекомых.

Одну из пестрых бабочек он настиг на соседском огороде. Изловчившись, Федя успел прикрыть ее своей ручонкой, но в этот момент мальчика грозно окликнул Гараська Тюпин:

—Ты что тут, паршивец, делаешь?

Федя вздрогнул и вскинул свои испуганные глаза на Гараську. Из-под растопыренных пальчиков малыша вылетела крупная красивая бабочка, помелькали ее радужные крылышки в воздухе, и как будто не бывало ее.

А Гараська насмешливо смотрит на оторопевшего малыша, помахивает лозинкой перед ним.

—Вот я тебе сейчас...

Не смея тронуться с места, Федя хнычет:

—Ба-бо-ску холо-су-ую... упусти-ил.

Бабочку он уп-пу-устил, — передразнивает его Гараська. — Нашел о чем

плакать, когда этих бабочек тыщи. Эх ты, размазня. Маку вот хочешь?

Гараська разжимает правую ладонь и подносит ее к лицу Феде.

— Посмотри, какой мак-то. Что пескариная икра, отборный.

Мальчик недоверчиво посматривает на своего обидчика.

Тогда Гараська достает из кармана конфетку в яркой бумажке.

— А вот это хочешь?

Малыш робко протягивает ручонку к конфетке. Но Гараська сейчас же прячет ее в карман.

—Э, нет! Сначала мак съешь, а потом конфетку получишь, у меня их вон сколько. — Гараська хвастливо хлопает рукой по оттопыренному карману. — У нас их полная лавка.

—Ишь как издевается над малышом, — возмущается Данилка, порываясь вперед. — Пообещать конфетку и не дать. Богачи проклятые. Только и живут обманом.

А тем временем Гараська снова показывает Феде зернышки мака на ладони.

— Вот как только съешь это — конфетку получишь. Не хочешь? Не надо. Тогда я сам его...

Гараська берет с ладони несколько зернышек и ловко подбрасывает их себе в рот.

—Эх и сладок мачок!

Федя берет с Гараськиной ладони щепотку зернышек, высыпает их в рот и начинает жевать.

Тогда Гараська выплевывает взятые в рот зернышки и громко смеется.

—Ага, надул дурака на четыре кулака. Жди теперь — к вечеру взбесишься.

Федя часто моргает глазенками, готовый расплакаться.

—Не будешь по чужим огородам шляться, — злорадствует Гараська. — Иди домой, слышь, бабка тебя зовет.

Он толкает малыша в спину, чтобы тот скорее убирался, и хохочет чуть не до упаду.

— Будет теперь потеха у Семена!

— Не иначе, зернами белены он его накормил, — догадывается Данилка.

Мы выскакиваем из своего укрытия. Данилка в несколько бросков настигает Гараську. Когда я подбегаю к ним, они уже стоят друг перед другом, как петухи перед дракой.

— Надругался над маленьким и радуешься? — наступает на Гараську Данилка. Его противник трусливо пятится назад с явным намерением дать стрекача, но при первой же попытке улизнуть от нас падает с размаху на землю.

Ловко подставил ему ногу Данилка! Мы вдвоем налетаем на Гараську и колотим его кулаками по бокам до тех пор, пока он не вырывается из наших рук.

Убегая от нас без оглядки, Гараська быстро достигает своего дома и, только поднявшись на крыльцо, грозит нам оттуда:

— Погодите, голодранцы: это вам так не пройдет.

Мы и сами хорошо понимаем, что неприятностей теперь не оберешься. Но мы очень рады, что побили Гараську. До этого мы никогда не ввязывались ни с кем в драку. Значит не так уж мы беспомощны, чтобы дрожать перед этим задирой и его компанией. А товарищи у нас найдутся. Тревожит нас больше судьба маленького Федя. А вдруг и впрямь с ним неладное что стряется?

Мы спешим к дому дяди Семена. В тот момент, когда мы вбежали в избу соседа, тетя Даша держала мальчика на руках. Федю позывало на рвоту.

Увидев нас с Данилкой, она сейчас же начала расспрашивать:

— Может быть, вы, ребята, чего дали мальчику?
Вперед выступил Данилка.

— Затем и пришли, чтобы сказать. Гараська Тюпин вашего Федю беленой накормил.

— Батю-юшки-и мои... беленой, — запричитала тетя Даша. — Что же делать теперь?

— Молока бы ему парного сейчас, — подхватила Федина бабушка.

Но у дяди Семена не было своей коровы. На розыски молока сейчас же отправилась старшая сестра Феди Галинка. Через некоторое время она вернулась, держа в руках глиняный кувшин с молоком. Разыскивая молоко, она побывала в доме Тюпиных и теперь на чем свет стоит кляла купчиху.

— И кружки не дала, жадюга. От пяти коров-то во дворе. Спасибо тетке Марье — выручила.

Федю отхаживали до самого утра. А на следующий день вся деревня знала об этом случае. Ребята возненавидели Гараську.

Он теперь редко выходил из дому. А если и появлялся когда вместе с Вадькой и Гришкой, их сейчас же обступали все ребята нашей улицы и начинали дразнить:

— Богачи-калачи, маком сыпаны!..

Пробовала эта троица припугнуть нас силой, но каждый раз вынуждена была спасаться позорным бегством.

Не помогла Гараське и лавка с конфетами, которой он всегда кичился.

Однажды, решив задобрить нас, он набрал полные карманы сладостей и начал раздавать их ребятам — кому пряник, кому конфетку.

— Чтобы не драться больше.

Конфеты и пряники мы, конечно, поели. Однако примирения между нами не наступило. И виновником этого был сам Гараська со своими дружками. В тот же день, заманив в свою компанию Данилку, они поколотили его.

Раскусив подвох Гараськи, мы еще больше ожесточились против него и его дружков, которые презирали нас, деревенских бедняков. Особенно возненавидели мы кутейников — сына попа Жорку и дьяконова Гришку. Эти смотрели на нас свысока, как на людей второго сорта. В наших играх они не участвовали, но в то же время не прочь были выманить у кого-нибудь из деревенских ребят понравившуюся им самодельную мельницу с толкачами или еще что-нибудь.

Более робкие уступали иногда домогательствам кутейников из-за боязни навлечь беду на своих родителей. Уж кто-кто, а поп с дьяконом при случае всегда могли отомстить мужикам. Заглянут в святцы и — все. Новорожденному твоему братяшке или сестренке при крещении такое имя дадут, что натошак и не выговоришь.

У дяди Егора, например, Юдька растет. Он с нами вместе грачиные яйца из гнезд достает, в горелки играет. Мальчик как мальчик. А в церковных книгах он Иудой значится.

А кто такое имя мальчонке дал? Поп с дьяконом. И все лишь из-за того, что дядя Егор по своей бедности не смог заплатить попу за молебен на пасху. Эту историю в селе знали все, даже мы, мальчишки.

Чтобы оградить своих родителей от неприятностей, начинаем действовать сообща. Станет Гришка или Жорка выпрашивать у кого-нибудь из ребят бабку-свинчатку, Данилка сейчас же свою предлагает:

— Вот. Ставлю на кон, выиграете — ваша будет. Кутейники знали, что им ни за что не обыграть Данилку.

А тот радовался:

—Ага! Бойтесь по-честному.

Мы всей оравой начинали свистеть. Жорка с Гришкой не выносили этого и пускались наутек. А мы кричали вслед:

Привыкли людей обирать! Ничего, мы вас отвадим.

ПАУТИНА

Наступил август. Это такая пора в деревне, когда все, от мала до велика, заняты делом. Хлеба в поле к этому времени бывают почти все скошены и сложены в копны. Но их еще нужно свезти на гумно, обмолотить и провеять зерно. Даже ночами в селе не умолкает стук колес и скрип телег, нагруженных тяжелыми снопами.

У нас не было своей лошади, и отцу каждый раз приходилось выпрашивать ее у кого-нибудь из односельчан. Трудное это дело — выпросить у мужика коня с упряжкой в страдную пору. У каждого своей работы в эти дни хоть отбавляй. А тут еще эти безлошадные, вроде моего отца. Таких у нас полдеревни. Бьются они всю жизнь как рыба об лед. Приходится на все соглашаться — платить за лошадь сколько запросят, отрабатывать за нее хозяину на косовице и молотье.

Но вот лошадь с упряжкой наконец добыта, и отец подкатывал на ней к

дому, как заправский хозяин. Мы с Парашкой сейчас же выбежали на улицу встречать его.

Сестренка, радуясь, хлопала ладошками:

—Лосадка!.. Лосадка!..

Отец брал Парашку на руки и сажал в телегу. Резвясь, как ягненок, впервые выпущенный на траву, Парашка начинала кувыркаться по соломе, то зарываясь в нее с головой, то разбрасывая ее ручонками вокруг себя.

Подсыпав лошади овса в торбочку, мы шли с отцом в избу ужинать.

— Садитесь, мужики, — говорила деловито мать, подкладывая нам нарезанный ломтями хлеб.

Ужинали мы с отцом вдвоем. «Мужики!» Мне и впрямь казалось, что я уже стал взрослым, раз отец берет меня с собой подавать тяжелые снопы на возок. Чтобы не подкачать в этом деле, я стараюсь съесть побольше квасу, огурцов с хлебом и каши.

Но когда мы подходили к телеге, отцу приходилось помогать мне взобраться в нее. I

— Ложись, сынок, на солому. Пока доедем, поспишь немного.

И вот мы уже в пути. Отец все время понукает усталого рыжего мерина, который трусит мелкой рысцой.

Стучат дробно колеса, подпрыгивает на выбоинах телега. Я лежу в ней на душистой соломе навзничь, как в огромной зыбке.

Колышется темнеющий с каждой минутой небосвод, прошитый звездами. Дремлется сладко-сладко. А запах поспевающих яблок-антоновок в садах, свежескошенных хлебов такой крепкий — не надышаться. Поспать бы хорошенько на таком воздухе.

Но упряжка останавливается, и я открываю глаза. Рядом из темноты выступают горбатые копны.

—Приехали, сынок, — говорит вполголоса отец. Ему жалко поднимать меня. Однако с делами надо спешить. Учить ребят в эту осень он опять нанялся в Замараевке, верст за тридцать от дома. Пешком оттуда не находишься.

Сняв меня с телеги, он начинает укладывать на нее ржаные снопы. Пока

воз еще невысок, отец обходится без моей помощи. Но большую половину снопов из копны надо подавать ему на телегу. Дело это для меня нелегкое. Возьмешь сноп на вилы, а он не поднимается.

— А ты его, сынок, на упор бери, на упор, — подсказывает мне отец с воза, куда он взобрался, чтобы принимать от меня снопы.

Я упираюсь концом вил в землю и начинаю медленно поднимать сноп кверху, пока отец не подхватывает его у меня. Накладываем воз мы долго. Затем увязываем его веревкой, чтобы не распался по пути. Когда все уже готово, отец спускается на землю и подсаживает меня наверх.

— Держись лучше, Митя. Вот тебе вожжи, кнут. Не упусти смотри.

Он берет мерина под уздцы и ведет его медленно по полю до самой дороги. Воз сильно покачивается на межах, и я все время держусь за перевясла снопов, чтобы не сорваться с него.

Какая чудесная картина открывается передо мной. Поля, озаренные голубоватым светом луны, уставленные рядами копен, кажутся мне огромным уснувшим селением. Может быть, это то самое окаменевшее царство из бабушкиной сказки, где все люди оказались усыпленными злым чародеем, а несметные богатства их лежат никем не тронутые...

Выбравшись на набитую дорогу, отец останавливает лошадь и взбирается ко мне.

— Ну, как ты тут? Не уснул еще?

— Нет.

— А ты поспи.

Я кладу голову отцу на колени и начинаю дремать. Мне хорошо. Покачивается наш воз, постукивают колеса. Так бы вот и ехать без конца.

Отец тяжело вздыхает:

Охо-хо-хо... и когда только все это кончится? Когда?

Я приподнимаю голову. Отец успокаивает меня:

Спи, спи, сынок. До дома еще далеко.

С кем это ты сейчас разговаривал?

—Это я так. Знаешь, что я придумал, Митя?

—Что?

—Удочку для снопов сделать. Привяжем к веревке большой крючок. Брошу тебе его с возка, а ты на него — сноп. И потянули. Без вил. Совсем легко будет.

Затея отца и впрямь облегчила мой труд. Это даже интересно: зацепишь крючком сноп за перевясло, поддашь его чуть, и он уже на возу.

Бедна нагрянула неожиданно.

Возвращаясь с поля со снопами, я сидел на возке рядышком с отцом, и он рассказывал мне о своем детстве. Десяти лет он остался без отца, рос в большой нужде, батрачил у помещицы.

Вдруг резкий толчок, и я стремительно падаю в черную пропасть. Мгновенное ощущение острой боли и — все.

...Где-то рядом тоненько звенят десятки маленьких колокольчиков. Нет, нет. Это в ушах у меня. Я с трудом открываю глаза. Постель на конике из свежей соломы, прикрытой дерюжкой. В избе светло. В окно виден кусочек голубого неба.

А на веточке вишни, под окном, белая нить паутины. Зацепилась она за листочки, да так и осталась натянутой, как струна. Еще клочок паутины проплыл в синеве. Откуда она и сколько ее там, на улице? Надо выбежать, посмотреть.

Я пытаюсь подняться и вскрикиваю от боли, пронизывающей все тело. Что со мною? Начинаю ощупывать себя. Может быть, и меня всего опутала эта белая паутина, связала по рукам и ногам? Надо скорее порвать ее, освободиться от нее.

Надо мной склоняется испуганное лицо матери. Поглаживая рукой мою голову, она всхлипывает:

— Лежи, сынок, лежи. Нельзя тебе трогаться.

На какое-то время я забываюсь. Проходят дни, и я снова вижу паутину на вишне под окном. Белых ниточек там стало еще больше. Они пугают меня. Этак можно долежаться, что и не встанешь потом никогда.

Превозмогая боль, я все же поднимаюсь и сажусь в постели. Ко мне подходит бабушка:

—Митя, голубенок ты мой, живым остался.

—Что со мною?..

Вместо ответа бабушка Мотря торопливо крестится, зовет мать.

—Александрюшка, иди скорее сюда. Поднялся мальчонка-то. Слава богу, поднялся...

Из сенец в избу вбегают мать, за ней Парашка. Все они смотрят на меня с каким-то удивлением и затаенным страхом. Может быть, я обезображен? Ощупываю свое лицо — нос, губы на месте. Что же со мною? Почему в ушах у меня все еще звонят эти невидимые колокольчики? И вдруг ясный проблеск в моем сознании: лунная ночь, воз со снопами, отец...

—Где он?

—Кто, Митя? — вскрикивает мать, порываясь ко мне.

Ей кажется, что я начинаю бредить. Она ласково обнимает меня и пытается уложить в постель.

—Отец где? — допытываюсь я.

—В Замараевке третью неделю уже ребятишек учит, — отвечает со вздохом мать. — Раз нанялся, куда ж денешься. Приляг, сынок, полежи. Расшибся ты сильно.

Я горько плачу. Опять Данилка ходит в школу без меня. Потом, успокоившись, говорю матери:

—На улицу хочу, там солнышко.

—На улицу?.. Куда ж тебе, сынок? Больной ты еще. Уговоры старших только раздражают меня.

—На улицу!

Мать, наконец, уступает. Она помогает мне подняться с постели, одевает меня. Тело мое терзают тупые боли, ноги и руки дрожат, но я креплюсь. С помощью бабушки выхожу на порог.

Вся деревня освещена осенними лучами солнца. И всюду — на веточках вишен, на кустиках полыни — клочки белой паутины. Подхваченные дуновением ветерка, они поднимаются в синеву и долго плавают там, пока снова не опустятся книзу и не зацепятся за какую-нибудь былинку или кустик.

Из открытых дверей школы на выгон высыпает пестрая орава ребятишек. Там Данилка. Мне хочется сорваться с места, побежать к нему туда. Вот обрадуется. Ведь сколько дней уже не видался с ним. Но я так еще слаб, что от первого же резкого движения у меня начинает рябить в глазах. С помощью бабушки еле добираюсь до постели и ложусь.

Выздоровливал я мучительно медленно. Солнечные осенние дни давно уже сменились пасмурными, с надоедливymi морозящими дождями, а я все еще не мог двигаться без посторонней помощи. На улицу выбрался лишь с наступлением первых заморозков. Как тут было хорошо! Жесткая щеточка подсохшей травы на выгоне припудрилась изморозью, в лужицах под окнами поблескивал тонкий ледок. Чуть наступишь на него, а он — хрусть под ногой. Скоро в бабки можно играть. Как-то перед вечером к нам в избу прибежал Данилка.

—Ты поднялся, Митя?

—Третий день на улицу без бабушки выхожу.

—Вот и хорошо. Книжку интересную принес тебе.

— А как там у вас в школе?

—Во втором классе учусь теперь.

А что, Данилка, учитель не примет меня в школу, если я пойду завтра?

Услышав наш разговор, мать напускается на меня. — Куда тебе в школу! Дома еще еле ноги таскаешь. — И к Данилке:— Иди домой, не дразни его. Больной он. Однако Данилка успевает шепнуть мне:

—Я спрошу у Михаила Павлыча. Может быть...

— И не думай, чтобы я его пустила, — говорит мать.

Теперь я догадываюсь, почему Данилка так долго не заглядывал к нам. Его просто не пускали. Но не таков мой дружок, чтобы забыть о товарище. Он уприсит учителя, он уговорит принять меня в школу. Данилка смелый.

И я не ошибся в своих надеждах. Через два дня Данилка, вернувшись из школы, сразу же прибежал ко мне. Он ликовавал:

—Собирайся завтра. Вместе пойдем. Учитель согласился.

В школу завтра! — кричу я вне себя от радости.
Мать строго обрывает меня на полуслове:

—Никуда ты не пойдешь. Чуней у тебя хороших нет, сумки для книг не приготовлено.

—И квелый ты еще после ушиба, — поддакивает ей бабушка. — Тебе только на печке сидеть.

Глаза мои туманятся от слез. Нет, это паутина. Вот она тянется ко мне из всех темных уголков избы, опутывает меня своими-тонкими ниточками. Порвать их во что бы то ни стало, порвать. И я делаю это решительно. Ни строгие окрики, ни ласковые уговоры матери с бабушкой не могут уже удержать меня дома.

—В школу!

Незабываемое утро. Я наспех завтракаю. В кармане моего дырявого пиджака ломтик хлеба и ситцевый платок для книг вместо сумки. Не беда! Не ушел бы только мой товарищ.

Спешу к Огневым. Данилка ожидает меня на пороге.

— Пошли, Митя, скорее.

Похрустывает под ногами ледок в лужах, искрится на солнце утренняя изморозь.

Школа. Учащенно колотится мое сердце, жар сменяется ознобом. А вдруг учитель отошлет обратно? Но все тревоги оказываются напрасными. Михаил Павлович встречает меня как старого знакомого.

— Проходи, Митя, вот сюда, — он показывает мне свободное место за партой рядом с девочками. Они загадочно переглядываются. Позади — сдерживаемый смехок.

—Тихо, дети, — говорит строго учитель.—Нехорошо так.

Все быстро успокаиваются. Михаил Павлович дает мне учебники, чистую тетрадь, ручку с пером, карандаш, объясняет, чем должны заниматься ребята второго класса и уходит к своему столику. Оттуда он может наблюдать за учениками всех классов сразу, поскольку никаких перегородок между ними нет. Каждый мальчик и девочка у него на виду. В первые минуты это несколько стесняет меня. Мне кажется, что учитель все время смотрит в мою сторону. Но к концу дня я осваиваюсь с порядками в школе, знакомлюсь с ребятами и

чувствую себя как рыба в воде. Паутина порвана — я учусь.

В ШКОЛЕ

Школа, в которую мы ходим с Данилкой, стоит на выгоне, под боком у церкви, и по сравнению с ней кажется маленькой и придавленной. Тесовая крыша на школе давно прохудилась, поросла мохом и почернела от времени. Ржавые затеки от дождей просочились через потолок во внутрь помещения, протянулись грязными дорожками по стенам до самого пола.

Не лучше выглядит и жалкая обстановка в школе. Она состоит из десятка некрашенных и сильно расшатанных парт, из порыжевшей от времени школьной доски, сильно поцарапанной мелом и грифелями, убогого учительского столика и небольшого шкафчика для книг и тетрадей.

В углу под самым потолком висит потемневший лик «Спаса» в позолоченном киоте, с лампадкой перед ним. Но к нему наше внимание привлекается только по утрам и по окончании уроков, когда всех нас ставят на молитву. В остальное время дня в этот угол редко кто заглядывает. Другое дело — узоры от затеков на стенах. Присмотришься к ним получше — и чего только не вообразишь себе. Тут увидишь и гривастую голову льва, и птичек разных, как бы порхающих с веточки на ветку, и нашего сельского веселого пастуха дядю Сережу, так прекрасно умеющего играть на своем незатейливом рожке.

Частенько эти наши ребячьи исследования кончались большими неприятностями. Засмотришься так на разводы на стене и позабудешь, что сидишь на уроке. А тут как раз учитель и нагрянет.

— Куда, мил-человек, смотришь? Почему за чтением не следишь по книжке?

Объясняться станешь — хуже наделаешь.

— Встань-ка столбом, — прикажет Михаил Павлович.

И стоишь ты истуканом за партой на виду у всех, пока гнев учителя не пройдет.

Но Михаил Павлович был человеком очень добрым. Он любил запросто беседовать с детьми. Случалось это чаще всего зимой, во время больших перемен, когда ребята выбегали шумной гурьбой на улицу. А те из нас, кто не имел хорошей одежды и обуви для такой прогулки, считали за великое счастье погреться у натопленной голландки. Присмотрите?! учитель, бывало, своим печальным взглядом к кому-нибудь из нас, оборвышей, покачает

головой, затем поднимется с табурета, подойдет к малышу, опустит свою руку на его голову, заглянет в глаза и спросит:

—Болеешь, сынок?

— Нет, — ответит мальчик, краснея от смущения.

—А почему тогда на воздух не идешь?

Вместо ответа малыш выставит на мгновение носок пробившегося лаптя вперед и сейчас же уберет его снова, чтобы не рассмешить других.

— Лаптишки сносились — вот беда. Новых-то отец не сделал еще? Лыка нет. Плохо, плохо.

Лицо учителя заметно мрачнело. Он задумывался и начинал нервно пощипывать кончиками тонких пальцев свою жиденькую золотистую бородку. Но через мгновение худощавое лицо его озарялось обнадеживающей улыбкой.

— Ничего, малыш... Скоро дождемся весны, солнышка и тогда при открытых окнах заниматься будем. Лаптишки свои — долой, — и без них по улице бегать можно. А потом, глядишь...

Михаил Павлович вдруг еще более оживлялся, гордо вскидывал свое помолодевшее лицо, и мы видели, как голубые глаза его загорались какими-то загадочными огоньками.

— Будем надеяться с вами,—продолжал он, еще более воодушевляясь, — что дождемся и такого времечка, когда все вы станете ходить не в лаптях, а в сапогах и ботинках. Школу новую для нас с вами народ выстроит большую, светлую и на свое полное обеспечение ее возьмет. Вот тогда и заживем по-настоящему.

—Когда же это будет?

—Не скажу точно — когда. Но будет такое, дети, — отвечал уверенно размечтавшийся учитель, но потом, спохватившись, что наговорил лишнего, немедленно объявлял о начале урока.

Пока мы усаживались по своим местам, Михаил Павлович еще некоторое время прохаживался взад-вперед между партами, потом присаживался к своему столику, и снова все шло по-старому.

Самыми тяжелыми для нас были дни, когда на уроки «закона божия» приходил отец Кондратий. Строгости, заведенные им в школе, доходили до жестокости. Прежде всего надо было вовремя заметить появление отца

Кондратия. Лишь только открывалась дверь — все должны были быстро встать при этом и низко поклониться священнику, а затем стоять смиренно, не шевелясь, до тех пор, пока высокая и тучная фигура его в черном широком подряснике не проплывет к учительскому столику. Михаил Павлович поднимался с места и подходил под «благословение» батюшки, брезгливо прикладываясь губами к волосатой поповской руке.

При виде этой процедуры я чувствовал отвращение к обрюзгшему от жира попу, и мне было почему-то жалко нашего учителя.

В школе сейчас же водворялась такая тишина, что было слышно, как жужжа, билась о стекло одинокая муха.

Начинался урок «закона божия» или чтение по-славянски. В то время когда один из нас отвечал священнику, остальные должны были внимательно слушать его, чтобы не оскандалиться, если бы отец Кондратий вздумал кого-нибудь спросить. Кому приятно попасть в немилость к этому человеку, который способен был малейший проступок ребенка при удобном случае припомнить и его родителям?

Провинившихся отец Кондратий наказывал очень строго. Сидит, бывало, за учительским столиком и смотрит по рядам, не балуется ли кто. Вдруг белесые брови его начинали хмуриться. Он порывисто вставал с табурета и медленно двигался к месту «происшествия». Было слышно, как шуршали полы распахнутого его шелкового подрясника. Наши ребячьи сердца в эту минуту холодели от страха. На кого из нас обрушится сейчас карающая десница попа? Кто станет жертвой в назидание другим?

И вот гроза разразилась. Подойдя к парте, где оказывался нарушитель порядка, вся вина которого состояла в том, что он задел локтем соседа, священник запускал руку в его волосы и дважды, а то и трижды стучал лбом малыша о парту.

— Почему, чадо, шалишь на уроке?

Учитель, наблюдая эту сцену, менялся в лице и с укором говорил:

— Отец Кондратий, что вы делаете? Вам по сану вашему рукоприкладство не дозволено. Побоялись бы бога, которому служите.

Тогда весь гнев священника переносился на Михаила Павловича. Багровея и выпячивая губы вперед, Кондратий, нимало не смущаясь нашим присутствием, начинал бранить учителя.

— Вы — не наставник детей. Вы учите их непослушанию старшим. Да,

да, милейший. Вы нравственно калечите детей.

Михаил Павлович молча выслушивал эти незаслуженные упреки, не вступая в пререкания с попом до тех пор, пока тот не изливал всей чаши своего гнева. Тогда учитель вежливо советовал ему:

— Зачем же, отец Кондратий, ожесточаться так против детей? Нет, нет, нехорошо.

Прерванный урок возобновлялся уже по инициативе учителя.

— Ну, дети,— говорил он, как бы забыв о неприятном происшествии, — на чем мы с вами остановились? Кто скажет?

Кто был посмелее, сейчас же поднимал руку. Теперь уже отец Кондратий был нам не страшен. Досидит он до конца урока и уйдет из школы, не сказав больше ни слова ни учителю, ни ученикам. Приходилось только удивляться: зачем он приходил сюда, что хорошего принес каждому из нас, кроме неприятностей?

Однако священник аккуратно посещал школу по средам и субботам в одни и те же часы. Возникали новые перепалки с учителем, кончавшиеся примирением. Но вот однажды ученики стали свидетелями настоящего скандала. А всему виной был я.

Рассказав отцу Кондратию притчу о блудном сыне, я стал от нечего делать набрасывать карандашом на листке бумаги лицо человека. Копировать кого-либо с натуры я, конечно, не умел и не собирался. Но все как-то произошло само собой. Я нарисовал страшную образину бородатого человека, имеющую очень далекое сходство с обликом отца Кондратия. Сидевший со мной Данилка сейчас же прыснул от смеха.

—По-оп!

Все сразу с шумом оглянулись в нашу сторону.

Пытаясь замести следы своего озорства, я сунул рисунок под парту. Он упал к ногам Данилки. Тот попытался прикрыть его своим лаптем, но было поздно. Свирепый голос Кондратия уже гремел над нашими головами:

— Чем вы занялись тут, сорванцы? Что за бумага валяется у вас под ногами? Подними, чадо, покажи ее мне.

Побледневший от страха Данилка юркнул под парту. Руки его дрожали, и он никак не мог схватить пальцами злосчастный листок с моим рисунком.

— Попроворней, чадо, — требовал грозно батюшка.

И вот мой рисунок в его руках. Разглядывая его, отец Кондратий мрачнеет, как осенняя туча.

— Подойдите ко мне, наставник, — обратился он к учителю, — полюбуйтесь, милейший.

Отец Кондратий грозно потрясает моим рисунком перед самым носом учителя.

Михаил Павлович в недоумении разводит руками.

— Обыкновенный детский рисунок.

— Ага!.. Обыкновенный, — вопит в исступлении поп. — Дети отца духовного осмеливаются в искаженном виде изображать, а у него — обыкновенный. Вы богоотступник. Да-да... Вы не можете дальше оставаться наставником детей. Завтра же буду ходатайствовать.

— Это ваше право, — ответил хладнокровно учитель. Отец Кондратий начинает строго допрашивать Данилку:

— Кто тут из вас посмел изобразить меня в таком виде?

Потупив взгляд в парту, Данилка упорно молчит. Он не хочет выдать меня, но и я не из таких, кто способен свалить свою вину на других. Преодолев страх, признаюсь священнику:

— Это я рисовал...

— Ты-ы? Ильи Тимофеева сын? Ах ты выродок сатанинский! Художеством вздумал заниматься!

Перекошенное злобой волосатое лицо отца Кондратия все подергивается, правая рука его, та самая рука, которой он благословляет верующих, тянется к линейке, лежащей на парте. Сейчас он начнет бить меня по голове. Съжившись весь, я машинально закрываюсь руками, но ожидаемого удара не последовало. Поп решил наказать нас с Данилкой по-другому. Топнув сердито ногой, он крикнул:

— Сейчас же выгнать этих сорванцов из школы! Чтобы и, Духу их тут больше не было. Ана-аафемы этакие...

Все остальное произошло как во сне. Через минуту мы с Данилкой были уже на улице. Двери сельской школы для нас закрылись навсегда.

А месяц спустя там не стало и нашего учителя. Михаилу Павловичу, как мы узнали позже от старших, был выдан кем-то «волчий билет». Говорили, что человек с таким билетом должен все время двигаться от села к селу, от города к городу, не имея права на длительное пристанище ни в одном из них.

Пытались мы с Данилкой дознаться от домашних, за что и кем выдаются «волчьи билеты» людям? Но вместо ответа на этот вопрос получили от своих матерей по крепкому подзатыльнику. Причем, нам обоим строго было приказано помалкивать о таких вещах, чтобы не накликать беды на своих родителей.

Только спустя полгода, узнал я от отца правду о нашем учителе. Оказывается, он был подпольщик-революционер. Его выследила полиция, и он попал в тюрьму. После освобождения его выслали к нам в деревенское захолустье под особый надзор полиции.

— Вот так-то поп наш и свел с Михаилом Павловичем счеты, — закончил отец рассказ об учителе. Помолчав немножко, он вздохнул:

— И когда только все это кончится?

— Что? — не понял я.

— Несправедливость на земле, сынок. Надоело жить под пятой у царя, помещиков и всяких этих батюшек, вроде нашего отца Кондратия. Ох, как надоело!

В этот день я впервые всерьез задумался о своем будущем. Безрадостным рисовалось оно мне. Пройдет еще два-три года — и я должен буду работать либо батраком у кого-нибудь из сельских богатеев, либо подпаском у деревенского пастуха. Я понимал, что отец ничего тут не изменит. Он только мог мечтать о лучшей доле для меня.

ПОБЕГ

Выгнав меня с Данилкой из школы, Кондратий добрался и до моего отца. По наветам попа из города пришла бумага: «Людям без учительского образования запрещается обучать детей грамоте, будь то хотя самая малая деревня и уговор на то с крестьянами».

— Смотри, Илья Тимофеевич. Нарушишь закон — отвечать перед

властями будешь.

Пришлось отцу отказаться от обучения ребят. Невелик был отцовский заработок, и того теперь не стало. Подтягивай пояса туже.

Бабушка Мотря — в слезы:

— Разгневался бог на тебя, Илюша. Раскаяться бы тебе перед ним.

Отец покачал головой:

—Рас-ка-яться! В чем же, матушка? Разве только в том, что я всю жизнь стремлюсь добро людям делать, а в это время богатеи да попы готовы нас в дугу согнуть. Хватит! Все решено.

—Что решено? — испугалась мать.

—Продаю половину своего надела земли и еду в город готовиться к экзаменам. Имею же я в конце концов право называться учителем. Сколько лет с детьми занимался по деревням. Будет у меня диплом. На все пойду ради него.

Чтобы успокоиться немного, отец стал прохаживаться по избе. Взгляд у него задумчивый, шаги тяжелые, усталые. Посмотрел на меня, грустно улыбнулся:

—Данилка-то, твой дружок, в подмастерья пошел к Кузьмичу, чуни шахтерские плесть. Слышал?

—Знаю.

—Я сегодня с портным Кубышкиным встретился, — продолжал отец, — говорит, отдай своего парнишку в подручные ко мне. Как ты на это смотришь?

Я промолчал. Отец понял, что я не хочу наниматься к портному.

— Неволить тебя, сынок, я не собираюсь. Мал ты еще. А стоило бы пойти. Портным стать — это дело полезное.

Весь остаток дня я терзался сомнениями. Что же мне делать? То я воображал себя уже взрослым, с аршином и большими ножницами в руках. Портной! Как это приятно — сшить человеку красивую одежду, и он благодарит тебя. Но тут же возникла другая мысль: а если испорчу хорошую материю. Что тогда?

Нет, нет. Лучше пахарем, кузнецом, столяром, только не портным.

Однако все обошлось по-хорошему. Занявшись своими делами, отец забыл о нашем разговоре. Не возвращался он к нему и в последующие дни. С продажей земельного надела у него что-то не ладилось. Он не раз ездил в город и возвращался оттуда злой и неразговорчивый.

Близилась весна, все чаще слышали мы, как отец с матерью заводили вечерами разговор о хлебе.

Взаймы, что ли, перехватить нам у кого до новины пудов десять...

—Где перехватишь? — сетовал горько отец. — Богатеям самый кон сейчас: по три рубля за пуд муки ржаной дерут.

— Тогда на норму переходить надо.

—Придется, — соглашался отец. — Другого выхода нет.

Утром ломтик хлеба к завтраку, который давала нам мать, был уже намного меньше вчерашнего.

Жить становилось еще труднее.

С Данилкой я встречался все реже. Он работал теперь у кустика целыми днями и домой приходил лишь поздно вечером.

За какой-нибудь месяц работы он стал сух, как вяленая таранка.

Лицо у него бледное, а голубые глаза его, всегда смеющиеся прежде, стали какими-то бесцветными и задумчивыми.

—Трудно тебе, Данилка? — спрашивал я.

—Ох, как трудно, — отвечал он, чуть не плача. — Целый день только и знаю, что костру из пыльной пеньки выбиваю, дубовые колодки для чуней готовлю, веревку.

—И чему ты за это время успел научиться?

—Накладывать основу чуни на колодку сам теперь могу.

—И сколько хозяин платит тебе за это?

Три копейки с пары, а подзатыльников — когда сколько придется.

— Больно дерется?

—Еще бы! У Кузьмича рука — что медвежья лапа. Как огреет по шее — только искры из глаз сыплются.

Мне приходилось раза два заглядывать к Данилке в мастерскую Кузьмича, и мне становилось жутко. Большая крестьянская изба с провисшим и почерневшим потолком, непроглядная серая пыль от пеньки и веревок, и в этом чаду десятка полтора сгорбившихся мальчишек. Они сидят на низеньких скамеечках и держат меж колен дубовые колодки для чуней. Трудятся ребята здесь от зари до зари. Разговаривать мальчишкам строго-настрого запрещено.

Кузьмич — человек суровый. Он так и смотрит, к кому бы из подмастерьев за что-нибудь придраться.

— Почему криво бровка чуни у тебя выходит? — басит он своим грубым голосом над головой согнувшегося над колодкой паренька. — Покажи-ка мне твою работу, шельмец.

Мальчик робко подает ему свою колодку. Осматривая ее, хозяин безглаголиво морщится:

—Плохо сделано... Сбавка с тебя на копейку.
И сразу к следующему:

— У тебя, мошенник, какие дела? Опять бечевку портишь? Тоже сбавка на копейку с пары.

И так целый день. Ни одного из мальчишек хозяин не называет по имени.

Я смотрю на Данилку, и грустные мысли одолевают меня.

Конечно, Данилка уже не лишний рот в семье, он кое-что зарабатывает. Ходуном ходят его угловатые, не окрепшие еще детские плечи, проворно действуют его тонкие руки. Сотни взмахов надо сделать ими, чтобы заработать только одну копейку. А сколько потребуется этих движений, чтобы получить от хозяина медный пятак? Тысячи.

Нюют натруженные Данилкины руки, першит в горле у него едкая пыль. И мой дружок кашляет уже как чахоточный.

Глядя на Данилку, я задумываюсь: «А чем лучше будет моя жизнь, если я попаду к портному Кубышкину? Разве кубышкинские подзатыльники будут чем-нибудь отличаться от оплеух Кузьмича? А как избежать этого, если родители твои бедны?»

И в голове моей возникает дерзкая мысль. Я беру своего дружка за рукав и веду его за глухую стену двора.

— Куда ты, Митька? — недоумевает Данилка.

— А вот сюда, — говорю ему, затаскивая его в густые заросли черемухи. — Тайну тебе свою хочу сказать.

— Говори, Митька.

Я осматриваюсь по сторонам: не подслушал бы кто нашего разговора с Данилкой. Запах черемухи, не успевшей еще отцвести, так крепок и приятен, что хочется забыть сразу обо всем: о нашей скучной жизни и обо всех этих кузьмичах и ку-бышкиных.

Пламенеет вечерний закат. Как много простора вокруг и как легко дышится в майский вечер!

Я придвигаюсь к Данилке вплотную и шепчу ему на ухо:

— Давай удерем с тобой куда-нибудь от нашей такой жизни. Слышишь?

— А куда от ней убежишь, Митька? Если только нищими будем ходить по деревням. Такие уж мы разнесчастные...

— Зачем? Уйдем в город — деньги там зарабатывать станем, родным присылать.

— Маленькие мы еще, не пустят нас.

— А мы тайком.

Нет, Митька, боязно уходить так. Мать у меня больная, жалостливая такая.

Совсем тогда с горя повалится.

Эх ты. А еще говоришь — разнесчастные мы с тобой. Счастье свое у каждого человека есть, надо только найти его...

— У таких бедняков, как мы, не было его и не будет.

— Ну и гни спину на Кузьмича. А я уйду.

По всему телу у меня пробегают холодные мурашки. «Может быть, и в

самом деле не следует мне пускаться в путь? Тем более одному, без Данилки. Обидит кто в дороге — и заступиться за тебя некому».

Я не говорю этого вслух, но разве Данилку обманешь? Видя, что я заколебался, он начинает уговаривать.

— Не надо, Митька, не уходи. Мать с отцом убиваться по тебе станут, бабушка. Им и так живется не сладко.

— Ладно, — соглашаюсь я. — Пусть на этот раз будет по-твоему.

Но лишь только я приоткрываю дверь в избу, безвыходность моего положения становится очевидной. Я слышу голос матери:

—И что будем делать дальше, если хлеба у нас осталось всего на неделю? А ведь до новины-то почитай еще целых два месяца.

—Корову последнюю придется на базар свести, что ж больше делать, — ворчит угрюмо отец.

Мать возражает ему:

—А ребятишек чем станем кормить?

Попробуй-ка не убеги от такой жизни? Я сильно хлопаю дверью.

—Митя, это ты?

Появление мое как раз кстати. Есть повод для разговора о Кубышкине.

—Зачем, сынок, упрямитесь зря, если в доме нужда, иди к нему в подручные. Лишний рот с хлеба, и мастерству научиться можно.

—Не пойду к Кубышкину...

—Слышишь, мать, что отвечает наш помощник-то, —говорит растерянно отец. — Не пойду — и все. А ведь мальчику-то двенадцатый год пошел...

Мать тихо всхлипывает.

Не сказав больше ни слова, я забираюсь на печку. Ворочаюсь с боку на бок и думаю: «А все же Кубышкина мне не миновать». Остается один выход — сбежать из дому немедленно, не позже утра. Вот только как это сделать лучше, чтобы не сильно огорчать отца с матерью? Разве написать записку и положить в бутылку, чтобы нашли ее потом и прочитали. Я читал в книгах, что так

делают моряки. А где оставить эту бутылку, чтобы сразу на нее обратили внимание? Поставить под скамейку? Кому она пустая скоро понадобится? За печку? За божницу? — совсем могут не заметить. Лучше всего, конечно, опустить бутылку в колодец, чтобы плавала она там поверху.

Как только пойдет отец или мать за водой, так и выловят ее оттуда ведром.

Дождавшись, пока все улеглись спать в снях, я приступаю к задуманному делу. При тусклом свете керосиновой лампы пишу записку, в которой прошу отца с матерью не беспокоиться обо мне. Обещаю им сразу же объявиться, как только найду где-нибудь подходящую работу. Стану слать письма и деньги.

Записка заключена в пустую бутылку и крепко закупорена пробкой. Сунув в карман штанишек ломтик черствого ржаного хлеба, захватив бутылку с запиской, на цыпочках выхожу в сени. Тишина. Все спят. Затаив дыхание, осторожно отодвигаю деревянную щеколду. Только бы не стукнуть ею, только бы не разбудить кого. Все обходится благополучно. И вот я уже на улице. Как подхваченный ветром, мчусь по направлению к колодцу. Босые ноги мои ощущают прохладу от обильной росы на траве, она бодрит меня, и я как бы лечу по воздуху.

Вот и колодец. Бутылка моя с запиской глухо падает в воду. Теперь уже все! О возвращении домой не может быть и речи. Вот только бы успеть выбраться из села до наступления рассвета. Я бегу по выгону, держась подальше от притихших избенок и дворов, пока не достигаю переулка с проезжей дорогой, ведущей из села в город.

Утренняя заря только занимается. До наступления рассвета можно шагом верст пять еще отмерить. Не спохватились бы только дома, и как бы отец не отправился за мной вдогонку.

Я хорошо представляю себе, чем кончится тогда вся моя затея с побегом. Но страшит меня больше всего не хворостина и отцовские упреки, а тот позор, с каким встретят меня в деревне ребята. Беглец! Эта кличка может остаться за мной на года.

Чтобы не попасть в такое неприятное положение, свертываю на рубежок, ведущий в село Казанское, где не раз бывал я у дедушки. Это даст мне возможность оторваться версты на три от большака и попасть на него снова на полпути к городу. Так я и делаю.

Не проходит и часа, как село Казанское остается у меня позади. Взшло яркое солнышко и, поднимаясь все выше, заливает окрестность золотом своих

лучей. На ярко-зеленых всходах овса бусинками искрятся капельки обильной росы. В безоблачном голубом небе высоко надо мной вьется одинокий жаворонок. Повис он там серенькой точкой на невидимой ниточке и так весело выводит свою песенку, что мне хочется остановиться и слушать его без конца.

А большак уже близок. Я вижу, как в сторону города движутся крестьянские подводы одна за другой. Люди спешат на базар. А что, если среди них найдется добрый человек и подвезет меня?

Я ускоряю шаг и добираюсь до большака. Приняв независимый вид, держусь поближе к накатанной дороге. Уже до десятка телег обогнали меня. Но никто из мужиков даже не поглядел в мою сторону. Кому интересно знать, куда и зачем идет чей-то парнишка? Хорошо и то, что, идя за подводами, я уже теперь наверняка попаду в город. А там...

Может быть, какому-нибудь богатому купцу требуется грамотный, расторопный мальчик для прислуживания в магазине. Хозяйский стол, обувь и одежда, рубль, а то два в месяц серебром на руки. Половину из них домой отцу с матерью, остальные на себя. Куда ж лучше!

Можно наняться в подмастерья к кому-нибудь из булочников. Работать в пекарне — дело нелегкое без привычки, зато ешь белый хлеб и крендели досыта каждый день. Настроение у меня приподнятое.

«У каждого человека должно быть свое счастье. Надо только суметь его найти», — вспоминаю я опять слова, которые вычитал в какой-то книжке.

И вдруг чей-то насмешливый окрик:

—Эй, малец! Далеко шагаешь?

Я вздрагиваю и оглядываюсь назад. На скрипучей телеге, почти рядом со мной, едет рыжебородый дяденька.

—Если в город путь держишь, садись — подвезу..

Он придерживает лошадь, и я ловко прыгаю к нему в телегу. Дяденька усаживает меня рядом с собой и начинает участливо расспрашивать.

Из какой деревни сам будешь?

Грачевский, — отвечаю ему.

Чей же ты там?

Ильи Тимофеева сын, — отвечаю бородатому, забывая о том, что ушел я

из дому украдкой и быть откровенным с первым встречным мне небезопасно.

Так, так,— произносит, задумываясь о чем-то, рыжебородый. — Зачем идешь в город?

Меня сразу бросает в жар. Вот я и попался. Но, преодолев смущение, отвечаю:

— Кое-что купить мне там приказано и... может быть, работа какая найдется для меня.

Рыжебородый настораживается. В прищуре глаз его чуть заметная усмешка.

— Ра-бо-та... Таких работников, как ты, везде хоть отбавляй. Только каши на стол подавай вам побольше.

Я в полном отчаянии. В груди у меня все горит, к горлу подступают слезы.

Мой спутник пытается успокоить меня.

— А ты, паренек, не журишь прежде времени. Толкач муку покажет.

Дорога поднимается на крутой взлобок. Рыжебородый спрыгивает с телеги, идет рядом с лошадьёю. То же самое делает мужик, едущий впереди нас. Я хотел последовать их примеру, но бородач удерживает меня:

— Сиди, сиди. Ты маленький, не тяжел.

Пустив лошадь вольным шагом, хозяин передней подводы приотстает немного и поджидает моего благодетеля. Сблизившись, оба закуривают, заводят разговор о чем-то. Из-за скрипа телег мне не слышать их слов, но по одному из жестов рыжебородого в мою сторону, я догадываюсь, что говорят обо мне.

Подводы преодолевают горку, и мой спутник снова садится в телегу рядом со мной.

— Это мой кум, Егор, — сообщает он мне, показывая кивком головы на едущего впереди нас. — У него большие знакомства в городе, и он обещает устроить тебя. Выходит, малец, везет тебе. Ты только не отбивайся от нас. Один-то, чего доброго, и затеряться можешь.

— Спасибо, дяденька, куда уж мне от вас.

—То-то, смотри.

Вскоре перед нами сразу открывается панорама города. Одних только церквей до десятка, а белых и красных зданий, разбежавшихся по крутому склону, и не сосчитать. И еще — три высоченных трубы. Они дымят так густо, что над городом все время висит огромное грязное облако.

Это винокуренный завод и табачные фабрики Заусайлова так чадят, — поясняет мне дяденька. Усмехнувшись в бороду, добавляет:

—Вином да табачком и тешат нашего брата—мужичка. Обопьется он, накурится до одури, и тогда хоть последнюю рубашку с него снимай. Вот как...

Через несколько минут мы въезжаем в город. К подводам то и дело подходят упитанные перекупщики. Лица у них красные, блестящие. Глаза хитрые.

—Что везете?

—Сколько просишь за овечку, мужик?

Тут же завязывается шумный торг. Дядьки хлопают друг друга по рукам. То сердятся, то смеются. Рассорившись, расходятся, затем снова сходятся. Божатся, клянутся — один расхваливает свой товар, другой доказывает, что он платит самую высокую цену за него.

Шибай проклятые, — ворчит недовольно мой спутник и начинает рьяно нахлестывать лошадь кнутом, чтобы поскорее миновать заставу из этих навязчивых людей. Но они назойливы, как слепни в летнюю жару. Не добившись своего уговорами, преграждают путь подводам, останавливают их и снова торгуются с хозяевами живности на возах чуть не до седьмого пота, пока не затаскивают более податливых в свои подворья. Тут уж держи ухо остро. Не ровен час, можно и без кнута остаться.

Рыжебородый, видимо, когда-то уже испытал такое удовольствие. Вопреки всяким домогательствам перекупщиков, мы благополучно пробиваемся в город. И тут, на огромной площади, заставленной десятками подвод, кумовья находят местечко для своих телег. Отпущены чересседельники, поводья уздечек, и лошадям под ноги брошено по охапке соломы. Пока они подбирают ее, мой покровитель и его кум Егор торгуют. Товаров у них на возах на какую-нибудь пятерку. Но тут они чувствуют себя полными хозяевами. Картошка, моченые яблоки в ведерках продаются горожанам поштучно, десятками. Сразу видно, покупают люди себе на обед или ужин. С такими и парой слов между делом перекинуться можно. У рабочего человека с крестьянином всегда общий язык найдется.

Пока идет торговля, рыжебородый все время держит меня при себе.

—Ты, паренек, сиди и знай посматривай: как бы кто не стащил чего у нас с телеги.

Время близится к обеду. Я успел уже съесть прихваченный из дому ломтик черствого хлеба. Во рту все пересохло.

—Попить бы водички, дяденька.

— На вот яблочко пожуй. Кончим торговать — в трактир пойдем чай пить с калачами.

Наконец все распродано с возков. Кумовья веселы. В кошельках у них позвякивают медяки и даже серебро.

—Теперь, Семен, и в чайную можно, — говорит кум Егор.

—На подворье к Дроновым что ль поедем?

—Можно и к Морозову. У него подешевле.

И вот мы уже едем по шумной улице города. На магазинах огромные вывески: «Кондитерская братьев Сазоновых», «Питейное заведение Рагулина», снова чья-то кондитерская. Вывеску ее, с огромным кренделем, силится перекричать вывеска колбасной Сомовых: «Только у нас покушаете лучших колбас». А запах такой, что слюнки бегут.

«Вот она жизнь-то настоящая где, — думается мне. — И булки свежие, и крендели, и колбасы всякие. Не то, что в нашей Грачевке».

Вскоре мы оказываемся в каком-то грязном переулке, въезжаем в ворота обширного двора. Это и есть подворье Морозовых. Под навесами десятки лошадей в упряжках. Находится место и для наших.

—Пойдем, малец, чайку городского поьем, — говорит рыжебородый, подталкивая меня вперед. — Денег нет? Не беда. Вот устроишься на работу — отблаговаришь нас с кумом Егором.

—Как же, — смеется дядя Егор, — свой человек в городе у нас будет. Как приедем — куда? К своему знакомому.

—Не зазнался бы только...

Как и следовало, я воспринимал все это в шутку. Взрослые любят посмеяться над мальчишками. Пусть потешатся.

Помогли бы только устроиться на работу, а я у них в долгу не останусь.

Заняв столик в трактире, кумовья усаживают меня рядом с собой, и человек, весь в белом, по их требованию сейчас же ставит перед нами два чайника с кипятком, а третий, поменьше, — с густо заваренным чаем. Затем он приносит чашки с блюдечками и полную тарелку румяных калачей.

Чаепитие продолжается уже около часа, а кумовья и не думают торопиться. Раскрасневшиеся, расстегнув рубашки, они в третий раз подзывают к себе человека в белом.

—Еще чайничек кипяточку.

—Сию минуточку.

Доедая второй калач и допивая третью чашку чаю, я начинаю клевать носом. Глядя на меня, кумовья смеются:

—Дремлется? Потерпи немного.

Я виновато улыбаюсь, силюсь преодолеть дремоту, но бессонная ночь берет свое. Все окружающее начинает казаться мне приятным сном. Звон чайной посуды превращается в нежную музыку, а у человека в белом вырастают крылья. И все это кружится, куда-то несется, увлекая меня за собой.

Я чувствую вдруг резкие толчки и слышу скрип колес. Открываю глаза и вижу над собой, редкие звезды на потускневшем небосклоне. Я приподнимаюсь на телеге, но чья-то сильная рука укладывает меня на место.

— Лежи, лежи. Сейчас наниматься к хозяину будем.

Наниматься, так наниматься. А пока можно и полежать. Сон снова одолевает меня.

И вдруг телега останавливается, наступает подозрительная тишина. Она длится с минуту. Затем я слышу дробный стук в окно. Где-то рядом стукнули дверной щеколдой.

—Кто тут?

—Это я, Семен Ведерников. Здравствуйте, Илья Тимофеевич.

—Здравствуйте, Семен Федорович. — Это голос моего тца. — Откуда вы к нам?

—Из города завернул. Пропажу вашу с кумом Егором нашли. Ахнула и запричитала в голос мать: — Где же он, мой миленький?

—Да вон, в телеге спит.

В голове у меня все идет кругом. От озноба стучат зубы. Но деваться теперь некуда. Спустившись с телеги, плетусь в избу. Мать с плачем заключает меня в свои объятия. Мне совестно. Я не смею взглянуть на близких мне и дорогих людей. Бабушка Мотря без конца повторяет:

—Слава богу, нашелся внучек.
Перестав плакать, мать спохватывается:

—Целый день, поди, не ел ничего. Садись за стол — похлебочки налью.

Только один отец не выдает своего волнения. Он молча смотрит на меня и думает о чем-то своем. Наказания за свой поступок мне не избежать. Но как хочется, чтобы домашние поняли меня: не ради озорства я убежал из дому. Я это сделал, стремясь хотя бы чем-нибудь помочь семье. Но счастье изменило мне: оно вырвалось из моих рук и растаяло, как легкое облачко.

Где теперь искать его?

В доме все идет по установленному порядку. После скудного ужина бабушка помогает матери укладывать спать моих меньших братишек — Петю и Ваню. Парашка уже знает свое место сама. Она ложится в постельку, сделанную ей из охапки соломы, прямо на полу. Укрываясь старой маминой кофтой, кричит из-под нее:

—Спокойной ночи!

—Спи, детка, — отвечает бабушка Мотря. - Приступок у печки не занят. Он заменяет мне койку.

И на нем все осталось нетронутым после моего ухода. А может быть, это только пригрезилось: город, кумовья из соседней деревни, чаепитие в трактире.

Когда я ложусь в постель, отец подсаживается ко мне на краешек приступка.

—Нехорошо ты, сынок, поступил, — говорит он. — От нужды куда убежишь? Везде она подстерегает нашего брата, мужика. В деревне он всю жизнь на богачей спину гнет, и в городах ему не праздник. Либо уголь долбить в шахту спускайся, либо у фабриканта лямку тяни. Вот если бы

засилье это повсюду сломать, тогда дело другое. Может быть...

—Что «может быть»?

—Народу простому дорога к настоящей жизни открылась бы. Работай каждый, учись, создавай счастье для себя и для других. Когда-нибудь наступит такое время. Большие умы над этим трудятся.

Я понимаю, о чем говорит отец. Об этом я слышал еще в школе, от учителя Михаила Павловича. Теперь он бродит где-то с «волчьим билетом» по селам и городам. Может быть, и отцу тоже дадут этот самый билет. Поп Кондратий на все способен, если возненавидит кого-нибудь из мужиков.

Сердце мое сжимается от тоски при одной только мысли об этом.

Отец поглаживает рукой мою голову, успокаивает меня:

—Спи, сынок. Рано тебе еще заботами взрослых себя обременять. Всеу свое время.

СИТЦЕВАЯ РУБАШКА

Не выдержал каторжной жизни у Кузьмича Данилка, сбежал от него. Однажды мой дружок пришел ко мне и радостно сообщил:

Знаешь, Митька, отец мой вильню делает себе.

Какую вильню?

А такую, которая бечевку для чуней из пеньки сама будет крутить.

— Сама-а?

Пойдем, посмотришь.

Мы бежим к дому Огневых. Из приоткрытого сарайчика, как всегда, доносится стук топора. Когда я врываюсь сюда, дядя Лева прекращает работу: есть повод передохнуть иемно-. го. Отирая тыльной стороной ладони пот со лба, он улыбается мне.

— Здравствуй, здравствуй. Без Данилки-то было и след к нам забыл. Вот, Митяка, как только сделаем машину, сами будем бечевку вить и чуни на продажу плести. Хватит нам на людей спину гнуть. Захочешь — и тебя этому делу научим.

А вильня сама крутиться будет?

—Почему сама? Как у всех: колесо вертеть кто-нибудь должен.

Я укоризненно смотрю на Данилку.

Зачем обманул? Говорил: вильня сама будет бечевку крутить.

Вот оно дело-то в чем, — догадывается дядя Лева.

Нет, такая штука мне не под силу. А хорошо бы: пустил машину и посматривай, как она работает за тебя.

Размечтавшись, дядя Лева на какие-то минуты уносится в мир чудесных машин, а вернувшись оттуда, нехотя берется за свой неизменный топор.

— Да, ребята. Человек всего может достичь, если дать ему простор в жизни. Только нету его пока, простора-то этого.

Третий день мастерит дядя Лева свою вильню. На наших глазах он сооружает большое колесо со спицами, похожими на заглавную букву «Т», выстругивает прочные стойки для него, вытачивает березовые скалки, которые будут скручивать пеньку и бечевку.

Но вот долгожданная машина готова. Мы выходим с дядей Левою на улицу опробовать ее. Огромное колесо с метровыми спицами словно собралось само сняться с дубовых стоек и зашагать по селу. От колеса к рабочим, скалкам на станке, вкопанном в землю, тянутся тугие струны.

— А ну, ребята,— просит дядя Лева,— проверните-ка его разочка три.

Мы с Данилкой сейчас же беремся за железный крюк. Еще усилие, и колесо делает первый оборот. Дрогнувшие на нем струны приводят в движение скалки. По выгону разносится такой скрежет, что даже дядя Лева не удерживается от смеха.

—Вот так музыка! Но это не беда: смажем оленафтом, и все будет в порядке.

На другой день утром чуть свет я уже был у Огневых. Они завтракали.

На столе дымилась в чугуне картошка и стояла большая миска с квасом. Я чувствовал себя неловко: всякое могли подумать люди, зная, как тяжело у нас дома с хлебом. Но отступить было уже поздно, Данилкина мать сейчас же попросила его потесниться на лавке.

Сажай своего дружка за стол.

Нет, нет, — говорю. — Я не хочу.
Дядя Лева усмехнулся:

—Ладно, чего там. Бери-ка вот горяченькую в мундирчике, да кваску с хлебом. Поедим покрепче — и за работу.

—Прямо и за работу, — сердится тетя Таня. — Мальчонка из-за любопытства пришел, а ты его работой стращаешь,

—Ничего, не белоручка какой-нибудь. Трудом своим только и живем. Правда, Митяка?

Я отвечаю ему кивком головы. Правда, мол.

После завтрака Огневые всей семьей выходят к вильне. Пока дядя Лева натягивает струны с колеса на скалки, Данилка тем временем подвязывает за пояс кудельку из пеньки. Теперь он за главного. Пока только ему одному известно, как вьется бечевка для чуней. Дядя Лева тоже берет себе кудельку и прикрепляет к поясу. Колесо берется крутить тетя Таня. Мне остается только помогать ей.

И вот машина заработала. Дядя Лева без привычки к новому делу поначалу закручивает толстенную нитку. Данилка сейчас же останавливает нас.

—Разве так можно? Ниточка должна быть тонкой. Вот такой, как у меня.

Дядя Лева виновато улыбается:

—Понимаю, сынок.

Минут пять уходит на расчесывание кудельки. Пенька у дяди Левы так закрутилась, что снять ее с крючка скалки удастся только после двух поворотов колеса в обратную сторону.

Так недолго и бороду в бечевку закрутить, — смеется Данилка.

И то правда, — соглашается дядя Лева.

Смотри в оба, — поучает Данилка.

Дальнейшая работа проходила без особых приключений. К обеду из пеньки была насучена целая охапка тяжелых свертков тонкой и толстой бечевки, и Данилка с отцом сразу же засели плесть чуни. Сначала оба накладывали основу на новенькие, гладко выструганные колодки. Дядя Лева заготовил их целый десяток, чтобы выбор побольше был.

— Шахтеров-то тысячи. Надо каждому потрафить, чтоб не бранил он нашего брата, мужика, за обувь.

Когда первая пара чуней была готова, дядя Лева предварительно обжег их на огне, чтоб волокнышек лишних не было, а затем старательно снял с колодок. Связывая их бечевкой вместе, довольно улыбнулся:

— Вот мы и обули человека. Пусть носит на здоровье, добром нас поминает. Сколько, сынок, просить за них будем?

—Копеек семьдесят: наши из чистой пеньки, — отвечает Данилка, — а Кузьмич за дерьмо с хлопьями по шесть гривен берет.

—Зачем же обманывать рабочего человека? Шахтеру денежки тяжелым трудом достаются...

Продолжая еще некоторое время любоваться своей работой, дядя Лева начинает подсчитывать:

— Семь гривен за пару. Пусть даже шестьдесят копеек. Из пуда хорошей пеньки шестнадцать пар сделать можно. Слышишь, сынок? Как только продадим их, ситцевую рубашку тебе купим.

Я с завистью посматриваю на Данилку. У него скоро будет ситцевая рубашка. А у меня...

Как бы угадывая мои мысли, дядя Лева спохватывается:

—А ну, Митяка, берись-ка за дело с нами. Ситцевая рубашка и тебе впору будет. Не одним богачам в ситцах ходить.

И вот я уже с помощью Данилки накладываю на колодку основу чуней. Получаются они у меня неуклюжие, косматые.

— Ничего, — подбадривает дядя Лева, — на первый случай и это хорошо. Подучишься Немного — по гривеннику за пару будешь получать.

По гривеннику за пару! Будет у меня рубашка. А потом... Мне начинают мерещиться новенькие кожаные сапоги. И пиджачишко на мне будто уже без заплат...

Но все это надо еще заработать. И я накладываю основу второй пары чуней с удвоенным старанием, подражая во всем Данилке.

Вторая пара у меня получается куда лучше первой. Осматривая ее, дядя Лева хвалит мою работу.

— Молодец, Митяка. Десять копеек, считай, у тебя за мной есть.

На второй день я делаю уже три чуни, на третий — четыре.

— Сорок пять копеек за мной, — объявляет дядя Лева. — Догоняй теперь уже до рубля, стало быть. Серебряный отдам - тогда, неразменный.

И вот этот блестящий кружочек в моих руках. Первый рубль, заработанный мной. Я приношу его домой и показываю матери.

Вот... у дяди Левы заработал.

Зара-або-тал?

Мать отбирает у меня монету и, строго глядя в лицо, спрашивает:

А ты правду говоришь?

Двадцать чуней основал я Огневим за этот рубль.
Хоть у самого дяди Левы спроси. На рубашку себе зарабатывал...

Лицо матери светлеет.

Матушка, пойди-ка сюда, — зовет она бабушку. — Смотри-ка, Митя целый рубль заработал себе на рубашку.

— Да неужто правда? - удивляется старая. Мой рубль переходит из рук матери в руки бабушки. Щурясь, она внимательно разглаживает монету, подпрыгивающую у нее на ладони.

— Хорошо бы по такому случаю свечку в церкви поставить, чтобы счастье в жизни мальчонке было во всем.

Мать недовольно машет рукой:

— Бросьте вы, матушка, пустое-то говорить. Не свечка, а рубашка

парнишке нужна. Совсем ведь он обносился.

Забрав у бабушки мой рубль, она наскоро одевается:

—Пошли, сынок.

...В лавке Тюпиных толкотня. Мы пробиваемся с матерью поближе к прилавку. За ним стоит сам хозяин заведения — Василий Тюпин, человек уже немолодой, с брюшком, выпирающим из-под жилета. Он старается быть любезным с покупателями.

—Пожал-ста, пожал-ста, — расшаркивается Тюпин перед матерью. — Что прикажете?

Мне ситчику на рубашку мальчонке надо, — отвечает мать.

—Пожал-ста, — и лавочник услужливо начинает сбрасывать с полок на стойку один отрез ситца за другим—красного, синего цвета, будто мы собираемся закупить все его запасы.

А посветлее у вас не найдется? — спрашивает мать.

— Какой душе угодно, — лебезит Тюпин. Повернув голову направо, он приказывает: — Горка, подай-ка сюда из кладовки кусок ситца в горошек.

Из-за дощатой переборки сейчас же показывается тугой сверток белого ситца, а вслед за ним высовывается вороватое лицо Гараськи. Гараська искоса поглядывает на меня.

Это кому же тут потребовалась белая рубашка?

—А вот моему старшенькому, — отвечает мать, начиная рассматривать и ощупывать поданный ситец. — Сам заработал. Надо получше, чтоб за праздничную сошла.

Гараська пренебрежительно бросает:

— Подумаешь, невидаль какая — ситцевая рубашка. Заработал...

— Горка, молчи! — прикрикнул на него отец.

Скорчив отвратительную гримасу, Гараська сейчас же скрывался за перегородкой. Но было уже поздно. Лицо матери побагровело от обиды.

—Эх вы, богачи скаредные. Если кто впал в нужду, думаете, он уже не человек! — Она круто повернулась, отошла от прилавка и, заслонив меня

собой, подтолкнула к выходу.— Пошли, сынок. Пропади он пропадом, их ситец. За свои трудовые и в другом месте найдем.

Люди расступились, открывая нам путь к выходу.

Вот она, жизнь наша человеческая.

—Соседка... соседка, вернись! — кричал нам вслед Тюпин из-за прилавка, но мать даже не обернулась. Пока выбирались на улицу, продолжала негодовать:

—Над ребенком изголяться. Зара-або-отал. А то как же — заработал, не украл и не обманул никого.

—Рубашку отец купил мне в городе. Белую с желтыми горошками. Носил я ее долго, больше по праздникам, пока не вырос настолько, что она стала тесна мне. Пришлось приберечь ее для Петюньки. И когда братишка стал надевать ее, я каждый раз вспоминал первый заработанный мною рубль и всю эту историю. Нелегко достался мне клочок этого дешевенького белого ситца с желтыми горошками по полю.

РАЗОРЕНИЕ

Что-то страшное творилось в то памятное лето в нашей Грачевке.

А началось все с засухи. За весь май не было ни одного дождя. Земля исходила последними соками, начинала трескаться. Всходы картофеля на огородах жухли у всех-на глазах. Только рано утром они расправляли ненадолго свои листочки, но лишь пригревало солнце — снова никли к земле, как бы ища у нее себе защиты. Желтела на выгоне трава, белесым маревом струился над полями накаленный жарой воздух.

Жатва хлебов началась недели на три раньше обычного, но радости она никому не принесла.

Не успев докосить чахлую полоску ржи, хозяин говорил в семейном кругу, что остальное можно сделать и без него, а ему надо спешить в Юзовку. Вчерашние чунники становились шахтерами, сами обувались теперь в чуни, сделанные для них кем-то другим, и спускались в темный забой. Уезжали многие и в Ростов-на-Дону, нанимались там дворниками, сторожами, а которые помоложе и посильнее, шли работать по бетонной части, лишь бы пережить

лихую годину, не дать умереть семье с голоду.

С каждым днем в Грачевке становилось все больше и больше изб с забитыми наглухо окнами. Разорение. Оно заглядывало всюду, сводя у грачевцев последних лошадей и коров со двора: кормить их было нечем.

И как вороны, почуявшие мертвечину, рыскали по селам перекупщики, сбивая и без того сильно упавшие цены на скот. Краснорожие, упитанные, они потряхивали тяжелыми кошелками из бычьих пузырей:

— Бери, хозяин, сколько даю за животину. Упустишь — потужишь потом.

Хозяин охал, чесал в затылке, но делать было нечего, и отдавал корову за бесценок.

Упорству моего отца в эти дни можно было позавидовать. Он не собирался уезжать на заработки — он хотел учиться. Половина душевого надела земли наконец; была продана. Оставив нам часть вырученных денег на хлеб, отец на другой же день ушел в город Ливны искать себе учителей. У одних он брал там уроки математики и физики, с помощью других постигал географию и синтаксис.

Но в Орле, где отцу привелось сдавать экзамены экстерном на звание сельского учителя, заинтересовались не только его знаниями, но и происхождением. Об этом он мне позже рассказал, как это все происходило.

Отца спросили: — Ваше сословие?

— Из крестьян, — ответил он. — Мать — бывшая крепостная.

Экзаменаторы переглянулись.

Гм... Да-а... — пожевал губами один из экзаменующих. — Из крестьян... у вас, что ж, достаток во всем, хозяйство приличное?

Это еще не определяет знаний человека, — заметил отец.

— Все ж таки...

Один из экзаменаторов лениво зевнул, другой чуть поморщился. И началось: ответит отец на заданный вопрос — ему новых два. Отбивался, как умел, не без успеха. Однако его «срезали»: из священного писания не совсем хорошо что-то усвоил.

Вернулся из Орла отец совершенно подавленным. На дворе стояла

глубокая осень. Тяжело плыли над землей тучи. Еще мрачнее было на душе моего отца. И земельного надела в хозяйстве лишился, и диплома не получил. За что теперь взяться? Полное разорение!

Дня три почти отец ни с кем не разговаривал. Ходил угрюмый, задумчивый, рассуждая вслух:

И все только потому, что я мужик.

Не кручинься, Илюша. — уговаривала его мать.

—Нет правды на земле, нет ее, — не унимался отец. - Какие-то лоботрясы учительствуют. Тот из дворян, другой — из купцов. А я... Куда, говорят, тебе в калашный ряд с мужицким рылом.

Успокоился бы ты, — вздыхала мать. — Куда уж нам.,.

—Не-ет уж. На милость божию я не располагаю. Самому надо уметь постоять за себя. Приготовлю вам кое-что на зиму и снова буду учиться, — твердил отец.

Оглядевшись немного, он принялся за дела по дому. На дворе кружились первые снежинки — предвестники зимних холодов. Под ногами гудела промерзшая земля. Надо было спешить.

И вот вдвоем с отцом мы целый день латаем соломенную крышу на сарайчике. Я подаю наверх ему охапки соломы, а он забивает ею дыры. Переделать бы надо кровлю заново, да соломы в этом году собрано мало. Ее и корове не хватит на зиму. Нужно еще и о топливе подумать: где его взять?

На следующее утро мы поднимаемся чуть свет и идем с отцом осматривать старые осокори на нашей усадьбе. Посаженные еще дедушкой по краю глубокой канавы, отделяющей наш огород от сельского кладбища, некоторые из них разрослись в огромные деревья. Одно из них, самое толстое, с прогнившей сердцевиной и подсохшими ветвями, стояло рядом с кладбищенской оградой. Постучав обушком топора по его дуплу, отец говорит:

— Повалим его, и дров на ползимы нам хватит.

Пила у нас плохонькая, тупая. Пилим дерево долго, с передышками. Вот уже и к обедне пономарь на церковной колокольне звонить начал, а наш осокорь еще стоит.

— И на чем только держится лесина? — удивляется отец. — Ведь кругом же подпилена.

Начинаем кренить дерево в сторону нашей усадьбы. От первых толчков оно только чуть дрогнуло. Еще одно усилие. В дупле что-то хрустнуло, осокорь качнулся и стал медленно валиться на огород. Хрястнули сучья о мерзлую землю.

— Теперь-то, голубчик, мы с тобой справимся, — говорит весело отец. — Успевай только, сынок, дрова домой относить.

Но лишь мы взялись за дело, как на нашем огороде появилась толпа мужиков. Возглавлял ее церковный ктитор Редькин — старик крепкий, упитанный, сивая борода, что твоя метла. Он приблизился к отцу и с силой схватил его за воротник рубашки.

Белым днем воровать начинаешь?

В чем дело? — удивился отец, отстраняя от себя ктитора.

Видите, прихожане, — сказал Редькин, злорадно посмеиваясь, — повалил на виду у всех кладбищенское дерево, да еще и спрашивает, какой он вор? Самый бессовестный.

—Позвольте! — крикнул отец. — Все же знают, осокори сажались моим батюшкой. Как вы смеете?

Мужики беспорядочно загалдели и окружили пень только что срезанной нами лесины. Было каждому ясно, что ктитор бессовестно клеветает на отца— дерево росло за оградой кладбища, на меже нашего огорода.

—А куда добрая половина ветвей от него тянулась? — не унимался Редькин. — Через забор на кладбище. Стало быть, оно и есть кладбищенское.

Дедушка Степан показал носком лаптя на пень осокоря:

—А корень-то вот он, ведь тут.

— Помнится мне, Михаил Федорович, — подхватил дядя Семен, — в женихах я тогда еще ходил. Идем как-то, а старик черенки эти самые в рыхлую землю втыкает. Говорит нам: «Посмотрите, ребята, какое еще дерево-то вымахнет». Вот оно и выросло на беду соседу.

Редькин метнул злыми глазами на защитников отца.

—Вы мне зубы-то не заговаривайте. Пару подвод сюда!

А по весне на нас свалилась новая беда. Этот скорбный день запечатлелся в моей памяти навсегда,

...С утра накрапывал мелкий дождик, холодный такой, пронизывающий до самых костей. Подоив корову, мать оделяла малышей молоком. Я ждал, не останется ли что для меня, но глиняная кринка быстро опустошалась. Много ли надоишь от захудалой животины? Чтобы не слышать вздохов матери по этому поводу, я поспешил выйти на улицу.

Над селом, громоздясь друг на друга, плыли тяжелые пепельно-серые тучи. Того и гляди дождик сменится хлопьями снега. Вот тебе и начало мая, а на выгоне и овечке травинки не ущипнуть. Недели две еще придется корову на резке держать.

Хорошо и то, что Буренка наша зиму выжила. Поправится она на травке, будут тогда у нас и творог и сметана.

Есть еще надежда выкарабкаться из нужды. Надо только во что бы то ни стало уберечь Буренку. Я направляюсь в закутку, чтобы дать ей клочок свежей соломы, пусть пожует.

Но не успел я затворить за собой двери, как с улицы раздался стук.

— Хозяин, откройся!

В груди у меня что-то ёкнуло. Опять староста. Не с добрыми вестями к нам его принесло. А дверь открывать все же надо. Дрожащими руками приподнял железную щеколду. В сени сейчас же вошли трое — староста с медной бляхой на груди и два мужика — сотские.

— Отец дома?

— Третий день, как ушел.

— Куда?

— К Молчанову на запруду.

Мужики переглянулись: следует ли заходить в дом без хозяина?

Староста шагнул к двери в избу.

— Ничего, мы с хозяйкой дело свое сделаем.

Остальное все произошло, как в кошмарном сне. Староста зачитал матери какую-то бумагу, присланную из волости.

— Тридцать рублей и сорок копеек недоимки подушных за вами значится, голубушка. Можете уплатить сейчас?

Мать всплеснула руками.

— Откуда же мне их взять, Митрофан Семенович? Сами же знаете, каким был прошлый год, Еле душа держится в теле...

Коровка во дворе, — подмигнул сотским староста. — Идите, забирайте ее.

— Коро-ову-у? — ужаснулась мать.

— Да, коровку, раз денег не водится, — произнес равнодушно староста, тыча пальцем в свою медаль. — Есть у меня власть на то или нет ее? Вот она. Не всякому дано заслужить ее.

А тем временем сотские успели открыть закуту во дворе. Когда мать, бабушка и мы, ребяташки, выбежали во двор, один из мужиков тянул Буренку к распахнутым воротам, а второй молча подталкивал животину сзади.

— Ро-ди-и-менькие, — запричитала бабушка. — Неужто креста на вас нет! Детей малых оголодить... гос-поди-и!

Староста посмотрел на нее злыми глазами.

Хитрая бабка. Однако богу—богово, а кесарю—кесарево: подати каждому платить надо.— Схватив попавшуюся под руку хворостину, он сам начал рьяно нахлестывать Буренку по крестцам.

— Иди ж ты, непутевая, иди.

Заламывая руки над головой, истошно заголосила мать, захныкали, глядя на нее, Парашка с Петюнькой. А потом все голоса слились в какой-то страшный вопль, хватающий за самое сердце. Ошеломленный, я стоял некоторое время, не в силах сдвинуться с места. Как в тумане, мелькали бегущие вслед за уводимой Буренкой Парашка с Петюнькой. Горькая спазма подкатывала к горлу, душила меня, но глаза мои оставались сухими: мужчине не положено плакать.

Когда с коровой все уже было кончено, мы собрались в избу. Набежавшая тучка хлестнула косыми нитями дождя в окна. Стекла сразу заслезились, и в помещении стало еще мрачнее.

Мать, обессиленная горем, села к столу и, положив на него свои исхудалые руки, долго молчала. Не шептала своих привычных молитв и

бабушка Мотря. Может быть, за многие десятки лет она впервые убедилась, что от бога ждать ей нечего.

Помолчав немного, мать обратилась ко мне:

—Беги, сынок, к отцу на мельницу.

Через час я был уже на молчановской запруде. Несмотря на ненастье, тут работало несколько десятков людей. Старики, женщины и ребята-подростки подвозили на лошадях солому и свежесрубленный хворост, укладывая их в плотину, а мужики помоложе и посильнее подносили на носилках глину и камни. Все это уплотнялось тяжелыми трамбовками, сделанными из комлей крепкого дуба.

Отца я разыскал среди каменоломов. Вооруженные ломами, они выворачивали ими огромные плиты известняка из горы и тут же разбивали их на части.

— Не так балдой камень бьешь. Бурочку, бурочку сначала подсунь под него, - командовал плечистый бородач, подсказывая отцу, как это надо делать.

—Спасибо за науку, Никодимыч.

Отец было уже замахнулся балдой, чтобы ударить ею по камню, но, заметив меня, остановился.

Ты зачем сюда?

Коров у нас со двора свели! — выкрикнул я.

Ночью украли?

Да нет,— говорю, — утром. Староста с двумя дядьками пришел и забрал ее.

Отец сразу помрачнел, натруженные руки его беспомощно опустились, тяжелая балда глухо стукнулась о щебень.

— За подати, — почти простонал он. — Ведь расплатился бы дня через три. Не могли подождать. Эх!..

Окружив отца, каменоломы утешали его как могли.

— Не падай духом, Илья Тимофеич, — говорил тот же плечистый бородач, только что учивший отца колоть камни. — Такая уж наша мужицкая доля: на казну работай, попу за требы отдай, а себе что останется.

— Так и доходим до полного разорения. Вот он, самый старшенький, — отец показал рукой на меня, — а дома еще четверо, один одного меньше, мать-старуха, жена. Выкручивайся теперь как сумеешь.

— Кто скажет, что жизнь наша — мед. Но и руки опускать негоже.

Мальчонка-то у тебя уже не маленький. Его к делу по нужде можно пристроить, — посоветовал другой.

Куда?

А хотя бы в свинопасы к нашему хозяину. Спрашивал он вчера, мельник-то. «Нет ли, — говорит, — у кого-нибудь из вас паренька, который мог бы свиней пасти?»

—Оказия. И работа как раз по мальчонке. Что ему? Бегай с кнутом за свиньями и не пускай их, куда не положено.

— Обувка, одежда и харчи хозяйские. А там, глядишь, и рублишко какой в дом перепадет.

Тоскливо посматривая на меня, отец колебался. В свинопасы! В другое время он бы и чужому этого не пожелал, а сейчас...

—Ну как, Митя?

— Пойду, — ответил я.

Каменоломы одобрительно закивали головами.

Соображает парнишка, что пора ему самому себя кормить.

В то же день мы пошли с отцом к хозяину мельницы, и тот взял меня на работу.

БЕРЕЗКА

По-разному доставался людям хлеб. Одни всю жизнь выращивали его, но редко наедались досыта, а к другим зерно само в закрома текло.

У мельника Молчанова, где мы работали с отцом, хлеба было целое море. Три огромных амбара, рубленных из дуба, рядом с мельницей, пять таких же амбаров за садом. И вы думаете, он его сеял? Нет. Крутила река Кшень почти круглый год мельничные колеса, а хлеб к мельнику плыл да плыл из всех окрестных деревень нашей волости.

За этот хлеб мой отец у Молчанова вместе с другими мужиками долбил камень из горы до кровавых мозолей на руках. За тог же хлеб люди ежегодно возводили мельнику плотину на реке, обслуживали его семью, ходили за скотом и птицей.

Молчанов будто и не жадничал. Просторная «людская изба» при мельнице в любое время дня была открыта для всех, работающих у него: заходи сюда, пей молодой квас, захотел есть — бери ножи отрезай от ковриги сколько тебе надо, поминай хо з я и на добром..

Изредка мельник заглядывал в «людскую» сам. Это было чаще всего во время обеда. Он раскланивался с мужиками и обращался к стряпухе Авдотье:

— Как тут у тебя? Люди всем довольны?

— Спасибо, — Петр Матвейч, — отвечали за кухарку мужики хором. — Молодец она. Квасок и хлеб у нее всегда на славу.

Молчанов важно разглаживал свою черную окладистую бороду.

— Люден всегда готов накормить. — И к стряпухе: — На завтра, Авдотья, щи с говядиной мужикам сварю. Плотину перекрывать будем.

Это значило, что людям предстоит тяжелая работа.

Когда уже мельница и просорушка были пущены в дело. я не раз видел, как хозяин вместе с дневальным брался сам ковать жернова. Молчанов начинал казаться мне человеком исключительной добродетели и простоты.

Совсем другого мнения был о нем старший свинарь дядя Аким, под присмотром которого я работал у мельника. Помогая мне как-то выгонять подвинков со двора на пастбище, он наказывал:

- Ты смотри, Митяшка, не распускай их по лугу-то. Чтобы каждый поросенок все время на виду у тебя был. Забежит какой в кусты, ищи его тогда...

У меня не убежит, — отвечал я.

То-то, гляди. А то Петр Матвейч в момент тебя из работников разжалует.

Он ведь такой.

— Неужели?

По морщинистому лицу Акима скользнула горькая усмешка. Посмотрев на меня исподлобья, он покачал головой.

— Не знаешь ты, паренек, людей. Наш хозяин стелет мягко, да жестко спать приходится. При случае он с человека последнюю рубашку снимет.

Работал дядя Аким у мельника уже лет десять, и я никак не мог понять его неприязни к хозяину. На все мои вопросы дядя Аким отвечал:

— Придет время — сам раскусишь, что это за фрукт.

И вот однажды, гоняясь целый день по берегу за свиньями, я очень устал, прилег в холодочек под ракушку и уснул, а свиньи тем временем забрели на бахчи.

Проснулся я от сильного пинка в спину. Передо мной стоял с палкой в руке сам Молчанов, Глаза его метали молнии.

— Так-то ты, шельмец, стережешь хозяйский скот. Вот тебе, дармоед. Вот тебе!

Палка ходила по моим плечам, пока я не перестал кричать.

— А-а-а, — заорал на меня мельник, — ты еще притворяться вздумал! Сейчас же убирайся, откуда пришел, и чтоб духу твоего тут больше не было!

Избитый в кровь, я с трудом поднялся с земли.

Отца к тому времени на мельнице не было. Работы на плотине закончились неделю назад, и он вместе с другими каменоломами получил расчет. Как теперь мне показаться ему на глаза? Опять я — лишний рот в семье.

С ноющей болью во всем теле я поплелся берегом реки, сам не знаю, куда и зачем. День был тихий, солнечный. Луг пестрел яркими цветами, над ними вились и жужжали пчелы. А вот и обрыв. Тут мы с Данилкой не раз ловили окуньков. Придется ли еще когда половить?

От обиды и тоски я готов был расплакаться. И вдруг перед глазами одинокая маленькая березка. Чуть я ее ногой не придавил. Чахленькая, а зеленеет. Судьба деревца заинтересовала меня. Откуда оно здесь? Однако оно скоро погибнет, если его не пересадить.

Я тут же осторожно выкопал ножичком березку из песка, обложил ее нежные корешки мокрыми листьями мать-мачехи и понес деревце домой.

Отец был удивлён моим внезапным появлением:

— Ты зачем домой пришел?

Да вот березочку маленькую на берегу нашел, посадить хочу.

Дело это хорошее — деревце у дома посадить. А как с работой у мельника? — тревожно спросил он.

— Избил он меня и прогнал. Свиной упустил я на бахчи...

— Вот оно что.

Отец помрачнел и глубоко задумался. Покорно опустив голову, я ждал грозы.

Но он положил мне руку на плечо, поглядел пристально в глаза и грустно проговорил:

— Ничего, сынок, не кручинься. Куда денешься? Проживем как-нибудь и без твоего заработка.

Захватив после этого железную лопату в сених, он пошел вместе со мной выбирать место для березки. Посадили мы ее перед окном нашей избы.

— Только приживется ли? — сомневался отец.

Но можете представить себе мою радость, когда после недельной отлежки в постели я увидел мою березку веселую, с приподнятыми вверх листиками.

— Иди сюда скорее! — закричал я отцу.

Что там у тебя?

Жива моя березка.

— Вот и хорошо, — сказал он, осматривая березку вместе со мной, — поливал я ее, пока ты болел. Только от солнцепека беречь деревце надо, пока оно не окрепнет как следует.

В тот же день я огородил деревце прутьями ракиты. Из них же сделал легонький навес над ним и стал усердно поливать березку каждый вечер, пока

она не пошла в рост.

Выжила моя березочка. Поправился и я после побоев мельника. Никаким невзгодам не сломить человека, если он любит жизнь.

Июнь начался теплыми грозовыми дождями. Припарит солнышко землю с утра, а во второй половине дня, смотришь, на западе опять засинело, и уже слышны отдалённые раскаты грома. Порывисто дохнёт прохладой набежавший ветерок, и ты ощущаешь приятную влагу. Вот и первые капли дождя стукнули по крыше.

Побросав цапки на огородах, люди бегут в избы. Дождь уже хлещет как из ведра. То и дело вспыхивают молнии. От мощных раскатов грома вздрагивает земля. Будто само небо крошится и рушится глыбами на нашу Грачевку.

Но это продолжается недолго. Еще не пронеслась туча, а в косматом просвете ее уже блеснул луч солнца. И сразу заискрилось все вокруг — умытые дождем деревья в садах, трава на выгоне.

Выбежишь утром на огород, а картошка за ночь чуть не на целый вершок подросла. И березочка моя под окном новый листочек выпустила. Как на дрожжах все поднимается,

— Урожайным будет нынешний год, — радовались грачевские мужики. — Хоть бы чуточку от бесхлебья одуматься.

В доме у нас также все повеселели. Отец отбивал косы на наковальне: одну, побольше, — для себя, другую, поменьше, — для меня.

— Скоро, сынок, травку косить в лощине пойдем. Припасем сенца, а по осени, глядишь, и коровенку опять купим.

Недели через три мы вышли с отцом на сенокос. Отец размашисто шагал с косой впереди, валок скошенной травы у него ложился ровно, как по шнуру. Я отставал от него, горячился, С непривычки тупо ныли еще не окрепшие плечи. Но зато радостно было видеть первый пройденный мною ряд. Правда, трава на нем топорщилась, но я уже косил наравне с отцом и от сознания этого словно повзрослел вдруг года на три.

Когда началась жатва хлебов, я тоже вышел в поле. Ржи у нас было немного, и мы управились за один день.

— Вот что значит иметь помощника-то, — радовался отец. — Теперь осталось, сынок, просо еще нам с тобой скосить.

В тот же день управились с уборкой и дядя Лева с Данилкой. Вечером мой дружок прибежал ко мне.

—Пойдем на рыбалку завтра.

—Пойдем, — говорю.

Мы поднялись чуть свет, к нам присоединился Сережка Голиков. Зоревали на реке, на том самом обрывчике, где я совсем недавно выкопал березку.

Хорошо клевали плотва и окуньки, и к вечеру мы возвращались домой с богатым уловом. Договорились, что завтра тоже пойдем на рыбалку, но сложилось все так, что наш поход на реку в тот день оказался последним.

Возвратясь в село, мы услышали страшную весть: где-то на западе началась война. Она превратилась потом в первую мировую войну.

На другой же день наших отцов забрали на фронт. Созревшую полоску проса мне пришлось косить уже одному.

Как заправский косарь, вышел я утром в поле. На плече хрюк с косой, налаженной мне еще отцом.

Вот и полоска проса, запомнившаяся мне среди многих других еще весной, когда сеяли с отцом. Деловито осмотрел я ее кругом. Сорвал метелочку, растер на ладони — созрела. Зернышки, как золотые. Что ж, можно начинать. Прежде чем взяться за крюк, поплевал в ладони, как это делал отец, и пошел.

Первый ряд проложил хорошо. Делаю второй заход. Но что такое? Крюка не поднять. Срезанные метелки проса ложатся в валок кувырком. Смотреть противно. Останавливаюсь, беру из ведрушки молоток, начинаю постукивать им по кольцу, скрепляющему косу с крюком, по гнездам деревянных пальцев. Старательно поточил косу бруском. Опять не берет. Я беспомощно опускаю руки. Что же теперь делать?

И вдруг появляется дедушка Михей. Шел хлебами по меже и совсем случайно набрел на меня.

— Что, хлопчик, не ладится?

— Да вот, — говорю, — резала коса да перестала.

Старик взял у меня крюк из рук и потрогал косу. Она зыбко шаталась в кольце.

— Простое дело, — сказал Михей, — коса у тебя, хлопчик, отошла. Молоточек-то с собой?

—Как же без молотка.

— Вот и хорошо. Подай-ка мне его сюда.

Дедушка Михей потянул чуть косу на себя, поставил ее по направлению пальцев в крюке, а затем уже начал закреплять пятку в кольце дубовым черешком—прикоском. Постучал молотком немного, посмотрел, еще постучал. Поточил косу. Три, четыре взмаха сделал сам. Коса резала хорошо.

—На-ка, пробуй ты теперь.

Крюк в моих руках заиграл, заходил легко-легко.

—Спасибо, дедушка Михей.

—Не за что, сердешный. Такому бы только готовую кашу есть, а он работает за мужика. Ничего не поделаешь—война.

Старик ушел своим путем. Но я уже теперь знал, что надо делать с крюком, если он вдруг снова разладится. К вечеру все просо было мною скошено.

Оказавшись без отцов и старших братьев, мы, мальчишки-подростки, брались за всякое дело. Сами запрягали лошадей, возили снопы с поля, укладывали их в скирды, молотили ценами.

Трудно нам было, но мы не жаловались. Понимали, что ничем тут не поможешь. Все время думалось: «А что с отцом? , Где он сейчас, жив ли?» И защежит сердце в груди больно-больно.

Люди постепенно разучились смеяться. Встретишь соседку, а у нее глаза заплаканные. С чего бы это? Оказывается, брата на фронте ранило. У тети Даши свое горе — сын в госпитале лежит, без ноги остался. У Прасковьи Барыбиной мужа не стало, а в доме трое ребят-малышей.

Вечерами уже не пиликали по улицам на завалинках у домов голосистые гармошки-ливленки, как это бывало раньше. Не звенели девичьи запевки в хоровах по воскресеньям. Не было такой семьи, которой не коснулась бы война.

В минуты тяжелого раздумья во мне иногда начинало все кипеть. Кто лишил людей радости жизни? Кто? Бабушкин бог? Кровожадный Змей-Горыныч из страшной сказки? Почему же тогда не находится храброго витязя,

который бы обезглавил это чудовище, остановил бы кровопролитие на земле? Ведь есть же где-нибудь такой богатырь. Должен быть.

Но... шли дни, а витязя-исполина не объявлялось, и все продолжалось по-старому.

ПЕРЕД БУРЕЙ

Третий год бушевала война. Многие из односельчан уже сложили свои головы где-то в далёких снежных Карпатах, под стенами Кракова и Перемышля — кто где. Бои шли теперь на Балканах. Об этом мы, ребята, узнавали из телеграмм-листочков, печатавшихся на цветной бумаге в Ливнах. Их привозили отсюда наши грачевские старики, ездившие на базар в город.

В нашей Грачевке уже почти не осталось мужиков. С каждым днем дорожал хлеб, в сельских лавках не стало соли и керосина.

Приезжали с фронта искалеченные солдаты и привозили с собой нелестные грамотки о царе и его сановниках. Эти листки тайком передавались из рук в руки и зачитывались до дыр.

Находились в Грачевке и свои сочинители. Среди нас, ребят, этим делом славился Степка Гречкин. Стишки про сельских богатеев и про дьякона с попом он складывал такие, что со смеху покатишься.

Соберемся, бывало, к Степке в избу чуни плесть. Работа эта скучная, утомительная. Наковыряешься за вечер свайкой, аж в глазах зарябит. Тогда Степка и начнет нас своими стишками развлекать.

Чего носы-то повесили? Аль спать захотели? Вот послушайте.

Небось, опять про попа с дьяконом?

Хватай выше. Про царя с Куприянычем написал.

—Ох, Степка! Зачем же Куприяныча трогать? Он и так обижен судьбой: калека-человек, избенка валится у него.

Зато царь в роскоши живет. Вот я и сравниваю.

Ну, давай, Степа, начинай.

Мы оставляли работу, а Степка подходил поближе к лампе и, выкрутив фитиль, чтобы ярче горела, становился перед нами и начинал декламировать:

Наш Куприяныч был герой,

Носил посох он стальной.

Как на посох опирался —

Над богатыми смеялся.

Осмеял весь белый свет

И к царю — шась в кабинет.

—В своем тряпье-то к царю? Кто ж его пустит туда?

—А вы не перебивайте, — огрызнулся Степка, встряхивая свой нечесанный вихор, - раз вошел, стало быть, пропустили.

— Жарь дальше, Степа.

Степка искал глазами на листке упущенную строчку, досадовал.

— Говорил — не перебивайте меня. Вот и сбился. Ага, нашел!

...Николай сидит на троне,

Грудь в крестах и при короне.

Куприяныч встал пред ним,

Глаз прикрыл, глядит другим:

«Эко жирно, царь, живешь,

Нашу кровушку ты пьешь.

К людям с трона, царь, сойди,

На их бедность погляди».

Царь дрожит и весь краснеет:

«Стража где? Сюда скорее...»

Окидывая нас взглядом, Степка ликовал:

Ну, как? Складно получается, правда?

Читай до конца, Степа, — просим все.

—Хорошего понемногу, — ухмыляется Степка. — К следующему вечеру закончу, тогда и дочитаю.

Мы начинаем строить свои догадки.

—Интересно, что может сделать царь с Куприянычем? Денег даст ему, одежду?

—Держи карман шире, — смеется Степка. — С нашим братом у него разговор короткий. Посадит он Куприяныча за решетку, и все.

Ну зачем же так, Степа?

Чтоб другие милости от царя не ждали: не было их и не будет.

Все же жалко человека в острог понапрасну сажать.

—А вы не бойтесь. В конце у меня будет так: Куприяныч убежит из тюрьмы и станет рассказывать мужикам по селам, как царь его «обласкал».

В наш спор вслушивается тетя Ариша — Степкина мать. Она вдруг подходит молча к Степке, выхватывает у него из рук бумажку со стихами, с досадой комкает ее и бросает в лохань с помоями.

Сочинитель нашелся! Отец за свой дерзкий язык третий год по Сибири где-то мыкается и сынок туда же за ним метит. Прекрати свои забавы, пока новой беды не накаркал.

Степка краснеет, как вареный рак, круглые глаза его часто моргают. Ну что дурного в том, что он стихи сочинил?

До царя они не дойдут, а Куприяныч и слова не скажет. Он и сам посмеяться не прочь.

Но тетя Ариша хорошо знала, что бывает от властей за подобные вольности. Степкин отец — дядя Тихон — тоже будто-бы никогда людям зла не делал. А вот поди ж ты, угодил человек в ссылку, за народную правду пострадал. Работал в Ростове по бетонному делу и там будто бы вместе с

другими рабочими на маевку за город ходил. Обмолвился недобрым словом о царе, за это его упекли тогда в далекие таежные края. Где он теперь — неизвестно.

Разбередив давно наболевшее, тетя Ариша долго еще сетует на свою горькую долю. Ведь сколько лет уже воспитывает детей без мужа. А тут еще война. Вся надежда у нее на Степку. Старший он в семье. Хотя и немного, но зарабатывает на хлеб. Сплетет пар десять шахтерских чуней, продаст, вот тебе и денежки. Зачем нужны ему эти стихи? Не белоручка — писаниной заниматься.

—Прошу тебя, Степка, не тревожь моего сердца, — умоляла тетя Ариша сына.

—Ладно, мама, — отвечал Степка, принимаясь за свою привычную работу. Колодка с чуней у него на коленях так и вертится с боку на бок. Теперь за ним никому из нас не угнаться. Такая уж натура у парня: если он чем-то взволнован до глубины души, берегись тогда. Будет работать как одержимый, слова лишнего не обронит, пока сердце у него не отойдет.

Настроение Степки удручает всех. Если отцу его тяжело в ссылке, то нашим не лучше на войне. Вот уже больше месяца нет весточки от дяди Левы, все реже приходят письма от моего отца. Поговаривали на селе, будто у наших солдат нет уже ни пушек, ни снарядов. Голыми штыками больше приходится им отбиваться от немца. Куда же смотрит царь? Почему он терпит продажных генералов?

Время далеко за полночь, а мы все еще сидим, сгорбившись над чунями, постукивая друг перед другом свайками о колодки, пока совсем не одолеет дремота. Встряхнуться бы немного, освежиться на воздухе. Да когда уж теперь — по селу, слышно, первые петухи поют. Пора расходиться по домам.

И так изо дня в день. Лишь начнет вечереть, мы сходимся в избу Гречкиных и снова беремся за чуни. Это единственный способ заработать на хлеб. Все говорят, что война вот-во кончится, и отцы наши, кто останется в живых, вернутся домой. Выдержать во что бы то ни стало, дожидаться этого светлого дня. Будущее нам, ребятам, начинает представляться в розовых красках. Может быть, после войны нарезка земли мужикам будет. Хлеба своего вдоволь станем наедаться. Черные дни-то и забудутся.

Но мечты наши на другой же день рушатся как карточный домик. Заходит к нам в дом перекупщик чуней Егор Свинолобов и спрашивает меня:

Ну как, хозяин? Чунишки-то наковырял?

Три десятка пар есть, — говорю.

По сколько возьмешь?

По рублю за пару забирайте.

Нет, парень, подешевели твои чуни теперь.

Почему?

—А потому, что шахты в Юзовке становятся одна за другой. Понимать надо — война.

Может быть, шутит Егор? Поторговаться ему охота со мной. Но Свинолобов уже собирается уходить.

—По восемь гривен за пару бери, хозяин. Большого заплатить не могу. Сам убытки терплю.

— Егор Гаврилыч, вернитесь, — зовет перекупщика мать, когда он уже успевает шагнуть в сени. — Не обижайте нас.

Война всех обижает, Петровна, — отвечает Свинолобов, хлопнув дверью.

Через неделю мы отдаем ему чуни по пятьдесят копеек за пару. Заниматься изготовлением их теперь уже не было никакого смысла. Пенька дороже стоила.

На душе у меня тяжелый камень. Чем будем жить без чуней? Ляжешь в постель — глаз до зари не сомкнешь. Вспомнится вдруг отец, и сердце еще больнее защежит. Вернется ли домой живым? Когда?

Вот уже и снег выпал. Пруд давно сковало льдом. Гомонятся там ребятишки перед вечером, а тебя так и подмывает побежать туда к ним. Пустить бы камешек по льду и смотреть, как он, подпрыгивая и позванивая тоненько, скачет по этому огромному зеркалу, пока не докатится до противоположного берега и не стукнется об него. Или встать на коньки и порезвиться часок-другой среди детворы. В зимнюю пору отец, бывало, не раз выходил со мной на лед. Подвяжет к ногам чьи-нибудь самодельные коньки-колодочки с подрезами из спинки косы и начнет выписывать круги по льду — всем ребятам на диво.

Нам с Данилкой теперь не до забав. Хозяева! Надо забить соломой застрехи в крыше, чтобы снег в сени зимой не несло, топливо приготовить. Наступит вечер — спешим к съезжей избе. Может быть, весточки с фронта есть нам от отцов. Опять впустую. Не пробрался к нам в Грачевку почтальон из

волости из-за сильной метели.

Под Новый год от дяди Левы письмо из госпиталя пришло. Ранен был тяжело, потому и не писал долго. Теперь выздоравливал и на побывку сулился. От моего отца — ни звука.

Миновал январь с метелями и морозами. В феврале потянуло на оттепель. Снега по селу вровень с крышами. От соседа к соседу трудно пробиться. Почту из волости привозили один раз в неделю, газет люди не выписывали.

Трудно сказать, какими путями проникла в нашу Грачевку радостная весть из далекого Петрограда.

—Царя народ свалил!..

—Революция!

И сразу забурлило все в нашей глухомани. Заметались люди, захваченные врасплох водоворотом событий. Будто ринулись все в неведомое, не зная еще толком, что оно принесет каждому. Одни — за продолжение войны, другие— против.

—Хватит, навоевались. Мужику земля нужна.

Что ни день, то новый агитатор из города. Народ на сельский сход валом валит. Приезжий человек из города, в драповом пальто, поднимается на крылечко съезжей избы. Видать, не из голодных.

—Граждане селяне! Родина-мать в опасности. Святой долг каждого из нас — защищаться до последней капли крови.

—Реки ее пролиты за царя, сколько-то и для себя оставить надо...

Это Григорий Бояков — солдат-инвалид — из толпы голос подает. Несколько человек подхватывают его на руки и несут к крыльцу.

—Своего человека послушаем, что он скажет.

Морщится брезгливо приезжий, однако место Боякову на крылечке уступает. Нельзя иначе: сам только говорил о свободе для всех.

—Скажи, скажи, солдат.

Встает Григорий в своей рваной шинельке рядом с городским — щеки впалые. Пустой рукав шинели по ветру болтается, во взгляде — гнев.

— Что нашему брату, хлеборобу, нужно сейчас? Земля и мир. Правильно

говорю, аль нет?

Единой богатырской грудью вздыхает сход:

— Правильно, Григорий. Истрадались в нужде. Брать землю у помещицы Костёцкой по весне, и все.

Урра-а!..

Перекатывается гул по толпе, взлетают в воздух шапки.

—Урра-а...аа... аа!

Выжидает фронтовик, пока не угомонятся люди, и снова с речью к ним:

А к чему призывает нас этот господинчик приезжий? Воевать...

Доло-ой таких!..

И уже нет на крылечке городского в драповом пальто, нырнул трусливо куда-то в толпу лавочник Тюпин. Просторнее становится солдату. Стоит он перед людьми на виду У всех, зовет односельчан строить новую жизнь, без царя и помещиков. Григорию нечего скрывать правды. Он говорит прямо, глядя людям в глаза.

Не легким будет наш путь к этой новой жизни. Грозная буря еще впереди. Не сложат оружия притеснители рабочих и крестьян без боя, воевать с ними придется. К полной победе над общим врагом нас могут привести только большевики. Есть такая партия у труженников, есть у нас испытанный вождь — Ленин. А где Ленин — там правда.

Светлеют изможденные лица крестьян. Сотни рук взметаются в воздух. И, как присяга на верность революции, раздаются возгласы:

Живота не пожалеем для счастья своих детей!

Не будет возврата старому режиму!

Мы, подростки, толкаемся в этом бурлящем людском потоке и тоже кричим:

—Не будет возврата к старому!

Шалея от радости, Степка Гречкин выкрикивает полюбившиеся его отцу слова из горьковской «Песни о Буревестнике»:

— Пусть сильнее грянет буря!

Может, и дядя Тихон вот так же, подобно безрукому солдату Григорию, стоит где-то в эти памятные минуты перед толпой обездоленных людей и призывает их сейчас к светлой жизни.

Какие еще бури ждали нас в будущем, мы хорошо не знали. Но что-то радостное, волнующее наполняло наши ребячьи сердца, и мы, подражая Степке, повторяли хором:

— Пусть будет буря!